

Платон

Федр

Милый Федр, куда и откуда?

Федр. От Лисия, Сократ, сына Кефала, [1 – См.: Евтидем, прим. 58.] иду прогуляться за городской стеной: у него ведь я просидел очень долго, с самого утра. А по совету нашего с тобой друга Акумена [2 – См.: Пир, прим. 16.] я гуляю по загородным дорогам – он уверяет, что это не так утомительно, как по городским улицам.

Сократ. Он верно говорит, друг мой. Так, значит, Лисий уже в городе?

Федр. Да, у Эпикрата, в доме Морихия [3 – Личность Эпикрата недостаточно достоверна. Может быть, это тот демагог, известный взяточник и казнокрад, против которого написана XXVII речь Лисия и который упоминается у Аристофана (Женщины в народном собрании 71), а также у схолиаста к этому месту. У него была комически громадная борода. Морихий – богатый афинянин, большой чревоугодник, принимавший на пирах в своем доме поэтов, философов, ораторов и актеров. Его гастрономические увлечения осмеивались в комедиях (схол. 227b).] близ храма Олимпийца.

Сократ. Чем же вы занимались? Лисий, конечно, угощал вас своими сочинениями?

Федр. Узнаешь, если у тебя есть досуг пройтись со мной и послушать.

Сократ. Как, разве, по-твоему, для меня не самое главное дело – «превыше недосуга», по выражению Пиндара, [4 – Пиндар в «Истмийских одах» (I 1–3) пишет: Мать моя Фива, Носительница золотого щита, Для меня твой труд Превыше всяких забот! Пер. М. Л. Гаспарова. Пиндар. Вакхилид. Оды. Фрагменты. М., 1980] – услышать, чем вы занимались с Лисием?

Федр. Так идем.

Сократ. Только бы ты рассказывал!

Федр. А ведь то, что ты сейчас услышишь, Сократ, будет как раз по твоей части: сочинение, которым мы там занимались, было – уж не знаю, каким это образом, – о любви. Лисий написал о попытке соблазнить одного из красавцев, – однако не со стороны того, кто был в него влюблен, в этом-то и вся тонкость: Лисий уверяет, что надо больше угождать тому, кто не влюблен, чем тому, кто влюблен.

Сократ. Что за благородный человек! Если бы он написал, что надо больше угождать бедняку, чем богачу, пожилому человеку, чем молодому, и так далее – все это касается меня и большинства из нас, – какие бы это были учтивые и полезные для народа сочинения! У меня такое горячее желание тебя послушать, что я не отстану от тебя, даже если ты продолжишь свою прогулку до самой Мегары, а там, по предписанию Геродика, [5 – Мегары расположены приблизительно в 40 км от Афин (см. также: Критон, прим. 16). О Геродике см.: Протагор, прим. 24.] дойдя до городской стены, повернешь обратно.

Федр. Как это ты говоришь, дорогой Сократ, – неужели ты думаешь, что я, такой неумелый, припомню достойным Лисия образом то, что он, самый искусный теперь писатель, сочинял исподволь и долгое время? Куда уж мне, хоть бы и желал я этого больше, чем иметь груду золота.

Сократ. Ох, Федр, я или Федра не знаю, или позабыл уже и себя самого! Но

нет – ни то, ни другое. Я уверен, что он, слушая сочинение Лисия, не просто разок прослушал, но много раз заставлял его повторять, на что тот охотно соглашался. А ему и этого было мало: в конце концов он взял свиток, стал просматривать все, что его особенно привлекало, а просидев за этим занятием с утра, утомился и пошел прогуляться, вытвердив это сочинение уже наизусть, – клянусь собакой, я, право, так думаю, – если только оно не слишком было длинно. А отправился он за город, чтобы поупражняться. Встретив человека, помешанного на том, чтобы слушать чтение сочинений, он при виде его обрадовался, что будет с кем предаться восторженному неистовству, и пригласил пройтись вместе. Когда же этот поклонник сочинений попросил его рассказать, он стал прикидываться, будто ему не хочется. А кончит он тем, что станет пересказывать даже насильно, хотя бы его добровольно никто и не слушал. Так уж ты, Федр, упроси его сейчас же приступить к тому, что он в любом случае все равно сделает.

Федр. Правда, самое лучшее для меня – рассказать, как умею. Ты, мне кажется, ни за что меня не отпустишь, пока я хоть как-то не расскажу.

Сократ. И очень верно кажется!

Федр. Тогда я так и сделаю. Но в сущности, Сократ, я вовсе не выучил это дословно, хотя главный смысл почти всего, что Лисий говорит о разнице положения влюбленного и невлюбленного, я могу передать по порядку с самого начала.

Сократ. Сперва, миленький, покажи, что это у тебя в левой руке под плащом? Догадываюсь, что при тебе это самое сочинение. Раз это так, то сообрази вот что: я тебя очень люблю, но, когда и Лисий здесь присутствует, я не очень-то склонен, чтобы ты на мне упражнялся. Ну-ка, показывай!

Федр. Перестань! Ты лишил меня, Сократ, надежды, которая у меня была: воспользоваться тобой для упражнения. Но где же, по-твоему, нам сесть и заняться чтением?

Сократ. Свернем сюда и пойдем вдоль Илиса, а там, где нам понравится, сядем в затишье.

Федр. Видно, кстати я сейчас босиком. А ты-то всегда так. Ногам легче будет, если мы пойдем прямо по мелководью, это особенно приятно в такую пору года и в эти часы.

Сократ. Я за тобой, а ты смотри, где бы нам присесть.

Федр. Видишь вон тот платан, такой высокий?

Сократ. И что же?

Федр. Там тень и ветерок, а на траве можно сесть и, если захочется, прилечь.

Сократ. Так я вслед за тобой.

Федр. Скажи мне, Сократ, не здесь ли где-то, с Илиса, Борей, по преданию, похитил Орифию? [6 – Орифия, дочь аттического царя Эрехтея, по преданию, была похищена северным ветром Бореем и унесена во Фракию (Павсаний I 19, 6). Геродот (VII 189) сообщает, что афиняне считали Борей своим зятем и во время бури у Евбеи принесли Орифии и Борей жертвы с мольбой сокрушить флот варваров.]

Сократ. Да, по преданию.

Федр. Не отсюда ли? Речка в этом месте такая славная, чистая, прозрачная, что здесь на берегу как раз и резвиться девушкам.

Сократ. Нет, то место ниже по реке на два-три стадия, где у нас переход к святилищу Агры: [7 – В местечке Агры («Ловы») находился храм Артемиды Агротеры («Ловчей»), где «некогда, придя с Делоса, охотилась Артемиде» (Павсаний I 19, 7 // Описание Эллады / Пер. С. П. Кондратьева. Т. I–II. М., 1938–1940. Т. I).] там есть и жертвенник Борей.

Федр. Не обратил внимания. Но скажи, ради Зевса, Сократ, ты веришь в

истинность этого сказания?

Сократ. Если бы я и не верил, подобно мудрецам, ничего в этом не было бы странного – я стал бы тогда мудрствовать и сказал бы, что порывом Борея сбросило Орифию, когда она резвилась с Фармакеей [8 – Фармакея – наяда одноименного ручья.] на прибрежных скалах; о такой ее кончине и сложилось предание, будто она была похищена Бореем. Или он похитил ее с холма Арея? [9 – холм Арея – ареопаг, где, по Эсхилу, происходил суд над Орестом (Евмениды) и где с тех пор, по преданию, был основан древнейший суд по делам, связанным с убийством или с оскорблением богов.] Ведь есть и такое предание – что она была похищена там, а не здесь.

Впрочем, я-то, Федр, считаю, что подобные толкования хотя и привлекательны, но это дело человека особых способностей; трудов у него будет много, а удачи – не слишком, и не по чему другому, а из-за того, что вслед за тем придется ему восстанавливать подлинный вид гиппокентавров, потом химер и нахлынет на него целая орава всяких горгон и пегасов и несметное скопище разных других нелепых чудовищ. [10 – Сократ перечисляет целый ряд мифических существ. Гиппокентавры, или кентавры, – полулюди-полулошадь (Ил. I 268, II 743 сл.), химера – огнедышащее чудовище, полулев и полузмея с туловищем козы (Ил. VI 180–182). Древние знали трех горгон – чудовищ подъемного царства, самая знаменитая из которых Медуза («Владычица») со змеями вместо волос и взглядом, «все превращающим в камень» (Гесиод. Теогония 275–277). Пегас – крылатый конь, сын Медузы и Посейдона, появившийся из крови убитой горгоны (Теогония 278–281). Тифон (ниже в тексте, 230a) – чудовище со ста головами, сын Геи – Земли, побежденный Зевсом (Теогония 820–868).] Если кто, не веря в них, со своей доморощенной мудростью [11 – В словах о доморощенной мудрости чувствуется насмешка над ранними философами, которым еще не была чужда мифология и которые толковали стихии и вообще чувственный мир в ее духе; например, у Анаксимена «воздух есть бог», у Гераклита «мудрость» хочет и не хочет называться Зевсом (В 32 Diels), у Парменида органы зрения называются Гелиадами (В 1 Diels), у Эмпедокла боги – космогонические силы: Любовь – Афродита и Гефосина, Вражда – Эрида (В 17–20, 22 Diels), Огонь – Гефест (В 98 Diels), Вода – Нестиды (В 96 Diels). Сократа, стоявшего на принципиально новых позициях по сравнению с натурфилософами, интересует прежде всего человек. Вот почему он вспоминает изречение на храме Аполлона в Дельфах: «Познай самого себя» (см. здесь же, ниже).] приступит к правдоподобному объяснению каждого вида, ему понадобится много досуга. У меня же для этого досуга нет вовсе.

А причина здесь, друг мой, вот в чем: я никак еще не могу, согласно дельфийской надписи, познать самого себя. И по-моему, смешно, не зная пока этого, исследовать чужое. Поэтому, распростившись со всем этим и доверяя здесь общепринятому, я, как я только что и сказал, исследую не это, а самого себя: чудовище ли я, замысловатее и яростней Тифона, или же я существо более кроткое и простое и хоть скромное, но по своей природе причастное какому-то божественному делу? Но между прочим, друг мой, не это ли дерево, к которому ты нас ведешь?

Федр. Оно самое.

Сократ. Клянусь Герой, прекрасный уголок! Этот платан такой развесистый и высокий, а разросшаяся, тенистая верба великолепна: она в полном цвету, все кругом благоухает. И что за славный родник пробивается под платаном: вода в нем совсем холодная, можно попробовать ногой. Судя по изваяниям дев и жертвенным приношениям, здесь, видно, святилище каких-то нимф и Ахелоя. [12 – Ахелой – река в Греции, пересекающая ее с севера на юг. По мифам, «серебристопучинный» Ахелой – древнейшая река, сын Океана и Тефии, старший из трех тысяч братьев (Гесиод. Теогония 340), отец источника Дирки недалеко от Фив (Евripид. Вакханки 519 сл.), губительниц-сирен – дочерей Мельпомены (Аполлодор I 3, 4) или Терпсихоры (Аполлоний Родосский IV 895–897) и нимф (Ил. XXIV 616).] Да если хочешь, ветерок здесь прохладный и очень приятный; по-летнему звонко вторит он хору цикад. А самое удачное это то, что здесь на пологом склоне столько травы – можно прилечь, и голове будет очень удобно. Право, ты отличный проводник, милый Федр.

Федр. А ты, поразительный человек, до чего же ты странен! Ты говоришь, словно какой-то чужеземец, нуждающийся в проводнике, а не местный житель. Из нашего города ты не только не едешь в чужие страны, но, кажется мне, не выходишь даже за городскую стену. [13 – См. также: Критон 52b.] Сократ. Извини меня, добрый мой друг, я ведь любознателен, а местности и деревья

ничему не хотят меня научить, не то что люди в городе.

Впрочем, ты, кажется, нашел средство заставить меня сдвинуться с места. Помахивая зеленой веткой или каким-нибудь плодом перед голодным животным, ведут его за собой – так и ты, протягивая мне свитки с сочинениями, поведешь меня чуть ли не по всей Аттике и вообще куда тебе угодно. Но раз уж мы сейчас пришли сюда, я, пожалуй, прилягу, а ты расположись, как тебе, по-твоему, будет удобнее читать, и приступай к чтению. [14 – Подлинность речи Лисия сомнительна. Парадоксальность темы (предпочтение нелюбящего любящему), аргументация и выводы напоминают упражнения опытных софистов.]

Федр. Так слушай:

Речь Лисия

«О моих намерениях ты знаешь, слышал уже и о том, что я считаю для нас с тобой полезным, если они осуществляются. Думаю, не будет препятствием для моей просьбы то обстоятельство, что я в тебя не влюблен: влюбленные раскаиваются потом в своем хорошем отношении, когда проходит их страсть, а у невлюбленных никогда не наступит время раскаивания: их ведь ничто не вынуждает относиться хорошо – они делают это добровольно, по мере своих сил, так же как принимают лишь самые лучшие решения и в своих домашних делах.

Далее, влюбленные смотрят, какой ущерб претерпели они в своих делах из-за любви, а в чем они преуспели; прибавив сюда исполненные ими труды, они считают, что давно уже достойным образом отблагодарили тех, кого они любят. А для невлюбленных нет повода под предлогом любви пренебрегать домашними делами, перечислять свои прошлые труды или винить кого-либо в своей размолвке с родственниками. Раз отпадает столько неприятностей, ничто не мешает им с большой готовностью делать все, чем они рассчитывают кому-либо угодить.

Далее, если влюбленных стоит будто бы высоко ценить за то, что они, по их словам, чрезвычайно дружелюбно расположены к тем, в кого влюблены, и готовы и словом и делом навлечь на себя неприязнь посторонних, лишь бы угодить тем, кого любят, – так тут легко распознать, правду ли они говорят. Ведь в кого они впоследствии влюбятся, тех они и станут предпочитать прежним, и ясно, что в угоду новым будут плохо относиться к прежним. Вообще какой смысл доверять в подобном деле человеку, постигнутому таким несчастьем, что отвратить его не взялся бы никто, будь он даже весьма опытен? Влюбленные сами соглашаются с тем, что они скорее больны, чем находятся в здравом рассудке, и знают, что плохо соображают, но не в силах с собой совладать. Как же могут они, когда к ним снова вернется рассудок, считать хорошим то, на что они решились в таком состоянии? К тому же, если бы ты стал выбирать лучшего из влюбленных, тебе пришлось бы выбирать из небольшого числа, а если бы ты стал выбирать наиболее для тебя подходящего среди прочих, выбор был бы велик. Так что гораздо больше надежды встретить среди многих того, кто достоин твоей дружбы.

Если ты боишься установившегося обычая – как бы люди, проведая, не стали тебя порицать, так тут естественно, что влюбленные, считая, что их собственные восторги разделяются и остальными людьми, будут превозносить себя в рассказах и с гордостью давать понять всем, что их старания были не напрасны; а невлюбленные, владея собой, вместо людской молвы изберут нечто лучшее.

Далее, многие неизбежно слышат и видят, как влюбленные сопровождают тех, в кого влюблены, делая это своим постоянным занятием; поэтому чуть только кто застанет их в беседе друг с другом, у него сейчас же возникает предположение, что это их общение вызвано влечением, уже возникшим или намечающимся. А невлюбленным никто и не пытается ставить в вину их общение, в уверенности, что им необходимо бывает побеседовать по-дружески или ради какого-то удовольствия.

Если же тебя охватывает страх при мысли, что дружбе трудно быть постоянной, так ведь когда разлад возникает при обычных обстоятельствах, это несчастье касается обеих сторон; если же только ты теряешь то, чем всего более

дорожишь, – большой для тебя получишь урон; значит, естественно было бы тебе опасаться именно влюбленных. Многие их огорчает, они считают, будто все совершается им во вред. Поэтому они отвращают тех, кого любят, от общения с остальными людьми, боясь, что богатые превзойдут их средствами, а образованные – обхождением; они остерегаются влияния всякого обладающего каким-либо преимуществом. Убедив тебя относиться неприязненно к таким людям, они лишают тебя друзей. Если же ты, не забывая о себе, будешь разумнее их, это поведет к размолвке. А кому не довелось влюбиться, но кто благодаря своим достоинствам добился того, в чем нуждался, тот не будет иметь ничего против людей общительных, наоборот, ему ненавистны нелюдимы: он ожидает с их стороны презрение, а от общительных людей – пользу. Поэтому гораздо больше надежды, что из их отношений возникнет дружба, а не вражда.

Далее, многих влюбленных привлекает тело еще до того, как они узнали характер и проверили остальные свойства, поэтому им неясно, захотят ли они оставаться друзьями и тогда, когда прекратится их влечение. А что касается невлюбленных, которые испытали это и ранее, будучи между собой друзьями, то невероятно, чтобы их дружба уменьшилась от того, что им было приятно испытать, – напротив, это останется памятным знаком и залогом будущего.

Следует ожидать, что ты и сам станешь лучше, если послушаешься меня, а не какого-нибудь влюбленного. Те ведь, не считаясь с высшим благом, одобряют все, что бы ни говорилось и ни делалось, отчасти потому, что боятся вызвать неприязнь, отчасти же потому, что им самим страсть мешает разобраться.

Вот ведь что являет любовь: кто в ней несчастлив, тех она заставляет считать мучением даже то, что вовсе не причиняет огорчений другим, а кто счастлив, тех она вынуждает хвалить то, что не заслуживает даже считаться удовольствием. Поэтому следует скорее жалеть тех, в кого влюбляются, чем завидовать им.

Если ты меня слушаешься, я, общаясь с тобой, прежде всего стану служить не мгновенному удовольствию, но и будущей пользе. Я не дам себя одолеть влюбленности, но буду владеть собой; по пустякам не стану относиться к тебе с резкой враждебностью и даже в случае чего-нибудь важного лишь немножко посержусь; я извиню нечаянные провинности и попытаюсь предотвратить умышленные; все это признаки долговечной дружбы.

Если тебе представляется, что не может возникнуть крепкой дружбы, когда нет влюбленности, то тебе надо обратить внимание, что мы не ценили бы тогда ни наших сыновей, ни отцов и матерей и не приобрели бы верных друзей, которые и стали-то нам друзьями не из-за такого рода влечения, но в силу других привычек.

Далее, раз надо особенно угождать тем, кому это требуется, тогда и в других случаях следует оказывать помощь не тем, кто благополучен, а тем, кто бедствует, потому что, избавившись от величайших зол, такие люди будут особенно благодарны. Раз так, то и при личных расходах стоить приглашать не друзей, а просителей и нуждающихся в пище: они с великой радостью будут это ценить, будут ходить за тобой, стоять у твоих дверей, усердно тебя благодарить и желать тебе всяких благ.

Но пожалуй, следует угождать не всякому, кому это требуется, а тем, кто всего более может отблагодарить, и не просителям только, но лишь тем, кто этого достоин. Это не те, кому лишь бы насладиться расцветом твоей молодости, а те, кто уделит тебе от своих благ, когда ты постареешь; не те, кто, добившись своего, станут хвастаться перед людьми, а те, кто стыдливо будут хранить перед всеми молчание; не те, кто лишь ненадолго займутся тобой, а те, что останутся на всю жизнь неизменно твоими друзьями; не те, кто, чуть только прекратится их влечение, будут искать предлог для враждебности, а те, кто обнаружит свою добродетель как раз тогда, когда минет твой расцвет.

Итак, помни о сказанном, подумай еще и о том, что влюбленных увещевают друзья, считая, что в их затеях есть что-то плохое, а невлюбленных никто из их близких никогда не корил, что они замышляют что-то себе во вред.

Возможно, ты спросишь меня, советую ли я тебе уступать всем невлюбленным. Думаю, что и влюбленный не посоветует тебе так относиться ко всем влюбленным. Ведь если он держится такого взгляда, он не заслуживает даже этой равной для всех благосклонности, да и тебе, при всем желании,

невозможно в одинаковой мере утаиться от остальных. Между тем, от этого не должно быть никакого вреда, а лишь польза для обоих.

Так вот, я полагаю, что сказанного достаточно, если же ты желаешь дополнений и находишь пропуски, тогда задавай вопросы».

Как тебе кажется, Сократ, это сочинение? Не правда ли, все превосходно сказано, особенно в смысле выражений?

Сократ. Чудесно, друг мой, я прямо поражен. И ты тому причиной, Федр: глядя на тебя, я видел, как ты, читая, прямо-таки наслаждался этим сочинением. Считаю, что ты больше, чем я, знаешь толк в таких вещах, я следовал за тобой, а следуя за тобой, я приходил в неистовый восторг вместе с тобой, удивительный мой человек.

Федр. Ну, ты уж, кажется, шутишь.

Сократ. Тебе кажется, что я шучу? Разве я не говорю серьезно?

Федр. Конечно, нет, Сократ. Но, по правде, скажи, ради Зевса, покровителя дружбы, неужели ты думаешь, что кто-нибудь другой из эллинов мог бы сказать об этом предмете иначе, больше и полнее?

Сократ. Что же? Значит, нам с тобой надо одобрить это сочинение также и за то, что его творец высказал в нем должное, а не только за то, что каждое выражение там тщательно отточено, ясно и четко? Раз надо, приходится уступить в угоду тебе, хотя я, по моему ничтожеству, всего этого не заметил. Я сосредоточил свое внимание только на его красноречии, а остальное, я думаю, и сам Лисий признал бы недостаточным. По-моему, Федр, – если только ты не возражаешь – он повторяет одно и то же по два, по три раза, словно он не слишком располагал средствами, чтобы об одном и том же сказать многое, – или, возможно, это было для него неважно. Мне показалось мальчишеством, как он выставляет напоказ свое умение выражать одно и то же то так, то иначе – и в обоих случаях превосходно.

Федр. Ты говоришь пустяки, Сократ. Как раз это-то и есть в его сочинении, и притом всего более: он ничего не упустил из того, что в предмете его речи достойно упоминания. Сравнительно с тем, что он высказал, никто никогда не смог бы сказать ничего полнее и достойнее.

Сократ. В этом я уже не смогу согласиться с тобой: ведь древние мудрые мужи и жены, высказывавшиеся и писавшие об этом, изобличат меня, если в угоду тебе я уступлю.

Федр. Кто ж это такие? И где ты слышал что-нибудь лучшее?

Сократ. Сейчас я не могу так сразу ответить. Но ясно, что я от кого-то слышал, не то от прекрасной Саффо, не то от мудрого Анакреонта, [15 – Саффо (Сафо) – знаменитая древнегреческая поэтесса с о. Лесбос (VII–VI вв.), основательница песенной любовной лирики. Фрагменты сочинений Саффо и Анакреонта (см.: Феаг, прим. 18) см. у Дияля (Diehl) и Эдмондса (Edmonds). Русск. пер. см.: Вересаев В. В. Полн. собр. соч. Т. X; Он же. Соч. Т. III. М., 1948; Эллинские поэты. М., 1963.] не то от других писателей. А почему я так говорю? Грудь моя, чудесный друг, полна, я чувствую, что могу сказать не хуже Лисия, но по-другому. А так как сам от себя я ничего такого не мог придумать – я в этом уверен, сознавая свое невежество, – то остается, по-моему, заключить, что я из каких-то чужих источников, по слуху, наполнился наподобие сосуда, но по своей тупости позабыл, как и от кого я что слышал.

Федр. Это, благороднейший друг мой, ты прекрасно сказал. От кого и как ты слышал – не говори мне, хоть бы я и просил. Исполни только то, о чем ты говоришь: обещаю сказать иначе, лучше и не меньше того, что в этом свитке, и не делая оттуда заимствований, а я тебе обещаю, по примеру девяти архонтов, посвятить в Дельфы золотое во весь рост изображение – не только мое, но и твое. [16 – Плутарх пишет (Солон 25) : «Совет давал присягу коллективную – твердо соблюдать Солоновы законы, а каждый из фесмофетов (архонты, председательствовавшие в суде) присягал особо на площади у камня, заявляя, что если он нарушит что-либо в этих законах, то посвятит богу в Дельфах золотую статую, равную своему росту» (Сравнительные жизнеописания. Т. 1–2. М., 1961–1963. Т. I). См. также: Менексен, прим. 17.]

Сократ. До чего же ты мил, Федр, и воистину ты золотой, если думаешь, будто я утверждаю, что Лисий во всем ошибся и что можно все сказать по-другому. Такое не случается, думаю я, даже с самым скверным писателем. Например, хотя бы то, чего касается это сочинение. Кто же, говоря, что надо больше уступать невлюбленному, чем влюбленному, упустит, по-твоему, похвалу разумности одного и порицание безрассудству другого? Это ведь неизбежно, и разве тут скажешь иное? Думаю, что такие вещи надо допустить и простить говорящему. В подобных случаях нужно хвалить не изобретение, а изложение; где же [доводы] не так неизбежны и трудно их подыскать, там кроме изложения следует хвалить и изобретение.

Федр. Соглашаюсь с тем, что ты говоришь, потому что, мне кажется, это было тобой сказано правильно. Так я и сделаю: позволю тебе исходить из того, что влюбленного скорее можно признать больным, чем невлюбленного; если же в остальном ты скажешь иначе, чем у Лисия, полнее и более ценно, тогда стоять твоему кованому изваянию в Олимпии рядом со священным приношением кипселидов! [17 – Павсаний (V 1, 4) пишет, что «Кипсел, коринфский тиран, посвятил Зевсу в Олимпии золотую статую».]

Сократ. Ты, Федр, принял всерьез, что я напал на твоего любимца, подтрунивая над тобой, и думаешь, будто я в самом деле попытаюсь равняться с его мудростью и скажу что-нибудь иное, более разнообразное?

Федр. Здесь, дорогой мой, ты попался в ту же ловушку! Говори как умеешь, больше тебе ничего не остается, иначе нам придется, как в комедиях, заняться тяжким делом препирательств. Поберегись и не заставляй меня повторить твой же прием: «если я, Сократ, не знаю Сократа, то я забыл и самого себя» или «он хотел говорить, но ломался». Сообрази, что мы отсюда не уйдем, прежде чем ты не выскажешь того, что у тебя, как ты выразился, в груди. Мы здесь одни, кругом безлюдье, я посильнее и помоложе – по всему этому внемли моим словам и не доводи дела до насилия, говори лучше по доброй воле!

Сократ. Но, милый Федр, не смешно ли, если я, простой человек, стану вдруг наобум состязаться с настоящим творцом!

Федр. Знаешь что? Перестань рисоваться передо мной. У меня, пожалуй, припасено кое-что: стоит мне это сказать, и ты будешь принужден заговорить.

Сократ. Так ни в коем случае не говори!

Федр. Нет, я непременно скажу, и мое слово будет клятвой. Клянусь тебе – но кем, однако? Кем из богов?

Ну, хочешь, вот этим платаном? Право же, если ты мне не произнесешь речи перед вот этим самым деревом, я никогда не покажу и не сообщу тебе никакой и ничьей речи!

Сократ. Ох, негодный! Нашел ведь как заставить любителя речей выполнить твое требование!

Федр. Да что с тобой? Почему ты все увертываешься?

Сократ. Уже нет, после такой твоей клятвы. Разве я способен отказаться от такого угощения!

Федр. Так начинай.

Сократ. Знаешь, что я сделаю?

Федр. Что?

Сократ. Я буду говорить, закрыв лицо, чтобы при взгляде на тебя не сбиваться от стыда и как можно скорее проговорить свою речь.

Федр. Лишь бы ты говорил, а там делай что хочешь.

Сократ. Так вот, сладкоголосые Музы – зовут ли вас так по роду вашего пения или в честь музыкального племени лигуров, [18 – Сладкоголосые Музы (собственно «звонкие»: λίγειαι, что созвучно названию племени лигийцев, или лигуров, больших любителей пения) – так Музы названы в гомеровских гимнах (XVII 1 Diehl), в пэанах Пиндара (fr. 14, 32 Snell – Maehler), в идиллиях Феокрита (XXII 221).] – «помогите мне» поведать то, к чему принуждает меня этот превосходный юноша, чтобы его друг, и ранее казавшийся ему мудрым, показался бы ему теперь таким еще более!

Жил себе мальчик, вернее, подросток, красоты необычайной, и в него были влюблены очень многие. Один из них был лукав: влюбленный не меньше, чем кто другой, он уверил его в том, будто вовсе и не влюблен. И как-то раз, домогаясь своего, он стал убеждать его в этом самом, – будто невлюбленному надо скорее уступить, чем влюбленному. А говорил он вот как:

«Во всяком деле, юноша, надо для правильного его обсуждения начинать с одного и того же: требуется знать, что же именно подвергается обсуждению, иначе неизбежны сплошные ошибки. Большинство людей и не замечает, что не знает сущности того или иного предмета: словно она им уже известна, они не уславливаются о ней в начале рассмотрения; в дальнейшем же его ходе это, естественно, сказывается: они противоречат и сами себе и друг другу. Пусть же с нами не случится то, в чем мы упрекаем других. Раз перед тобой и передо мной стоит вопрос, с кем лучше дружить, с влюбленным или с невлюбленным, нам надо условиться об определении того, что такое любовь и в чем ее сила, а затем, имея это в виду и ссылаясь на это, мы займемся рассмотрением, приносит ли она пользу или вред.

Что любовь есть некое влечение, ясно всякому. А что и невлюбленные тоже имеют влечение к красавцам, это мы знаем. Чем же, по-нашему, отличается влюбленный от невлюбленного? Следует обратить внимание, что в каждом из нас есть два каких-то начала, управляющие нами и нас ведущие; мы следуем за ними, куда бы они ни повели; одно из них врожденное, это – влечение к удовольствиям, другое – приобретенное нами мнение относительно нравственного блага и стремления к нему. Эти начала в нас иногда согласуются, но бывает, что они находятся в разладе и верх берет то одно, то другое. Когда мнение о благе разумно сказывается в поведении и своею силою берет верх, это называют рассудительностью. Влечение же, неразумно направленное на удовольствия и возобладавшее в нас своею властью, называется необузданностью. Впрочем, для необузданности есть много названий, ведь она бывает разной и сложной: тот ее вид, которому доведется стать отличительным, и дает свое название ее обладателю, хотя бы оно было и некрасиво и не стоило бы его носить. Так, пристрастие к еде, взявшее верх над пониманием высшего блага и остальными влечениями, будет чревоугодием, и кто им отличается, получает как раз это прозвание. А если кем самовластно правит пристрастие к опьянению, и только оно его и ведет, – понятно, какое прозвище он получит. И в остальных случаях то же самое: название берется от соответствующего влечения, постоянно преобладающего, – это очевидно».

Ради чего все это было сказано, пожалуй, ясно; во всяком случае, сказанное яснее несказанного. Ведь влечение, которое вопреки разуму возобладало над мнением, побуждающим нас к правильному [поведению], и которое свелось к наслаждению красотой, а кроме того, сильно окрепло под влиянием родственных ему влечений к телесной красоте и подчинило себе все поведение человека, – это влечение получило прозвание от своего могущества, вот почему и зовется оно любовью.

Но, милый Федр, не кажется ли тебе, как и мне, что я испытываю какое-то божественное состояние?

Федр. И даже очень, Сократ: вопреки обыкновению, тебя подхватил какой-то поток.

Сократ. Так слушай меня в молчании. В самом деле, место это какое-то божественное, так что не удивляйся, если во время своей речи я, возможно, не раз буду охвачен нимфами – даже и сейчас моя речь звучит как дифирамб. [19 – Как указывает Гесихий, человек, охваченный поэтическим вдохновением, считался охваченным нимфами или Музами (см.: Hesichii Alexandrini Lexicon / Ed. M. Schmidt. Ienae, 1867.

всякий поэт творит по какому-то безумному наитию. Ср.: Ион, прим. 14 и 16; о дифирамбе см. там же, прим. 17.]

Федр. Ты совершенно прав.

Сократ. Причиной этому, однако, ты. Но слушай остальное – а то как бы это наитие не покинуло меня; впрочем, это зависит от бога, а нам надо в нашей речи снова вернуться к тому мальчику.

Так-то, милый мой! То, что подлежит нашему обсуждению, уже указано и определено. Не упуская этого из виду, поговорим об остальном: какую пользу или какой вред получит, по всей вероятности, от влюбленного и от невлюбленного тот, кто им уступает? Человек, подчиняющийся влечению, раб наслаждения, непременно делает своего любимца таким, каким он ему будет всего приятнее. Кто болен, тому приятно все, что ему не противится, а что сильнее его или ему равно, то ненавистно. Любящий добровольно не переносит, чтобы его любимец превосходил его или был ему равен, но всегда старается сделать его слабее и беспомощнее. Невежда слабее мудрого, трус – храбреца, неспособный говорить – речистого, тупица – остроумного. Такие или еще большие недостатки в духовном складе любимца, неизбежно ли возникающие или присущие ему от природы, услаждают влюбленного, он даже старается их развить, только бы не лишиться мгновенного наслаждения.

Влюбленный неизбежно ревнив, и, отстраняя своего любимца от многих других видов общения, притом полезных, благодаря которым тот всего более бы мог возмужать, он причиняет ему великий вред, но еще несравненно больший, если не дает приобщиться к тому, от чего любимец всего более мог бы стать разумным; а ведь именно такова божественная философия, к которой влюбленный и близко его не подпускает, боясь, как бы тот не стал им пренебрегать. Придумывает он и многое другое, чтобы его любимец ничего не знал и ни на что не глядел, кроме как на него, и этим был бы ему в высшей степени приятен, хотя бы для самого юноши это было и крайне вредно. Значит, попечения и общество человека, охваченного любовью, никак не могут быть полезными для духовного склада юноши.

Вслед за тем надо посмотреть, каково будет состояние тела и уход за ним у того, чьим повелителем станет человек, непременно стремящийся к удовольствию, а не к благу, и мы увидим, что он ищет не юношу крепкого сложения, а неженку, выросшего не на ясном солнце, а в густой тени, не знакомого с мужскими трудами и сухим потом, но знакомого с изысканным, немужественным образом жизни, прибегающего к искусственным прикрасам и уборам за недостатком собственной красоты и занимающегося всем остальным, что с этим сопряжено. Это ясно, и не стоит дольше об этом распространяться. Отметив здесь это главное, перейдем к остальному: ведь на войне и в других важных случаях подобное тело внушает неприятелю отвагу, а друзьям и самим влюбленным – опасения.

Поскольку это ясно, оставим это в стороне и поговорим лучше о следующем: какую, по-нашему, пользу или какой вред принесет общение с влюбленным и его попечение достоянию [любимца]? Здесь ясно всякому, а особенно самому влюбленному, что всего более он желал бы, чтобы его любимец был лишен самого дорогого, верного и божественного достояния: он предпочел бы, чтобы тот лишился отца, матери, родственников и друзей, потому что он считает их всех докучливыми хулителями этой столь сладостной для него близости. Кто обладает состоянием – золотом или другим имуществом, – того он будет считать неподатливым, и, если тот даже поддастся, он будет думать, что такого нелегко будет удержать. Поэтому влюбленный неизбежно досадует, если его любимец обладает состоянием, и радуется, если тот его теряет. Желая как можно дольше пользоваться тем, что ему сладостно, влюбленный хотел бы, чтобы его любимец как можно дольше оставался безбрачным, бездетным, бездомным.

Есть тут и много других дурных сторон, но некий гений примешал к большинству из них мимолетное удовольствие. Лыстец, например, это страшное чудовище и великая пагуба, однако природа примешала к лести какое-то удовольствие, очень тонкое. Можно порицать и гетеру, ибо и она вредна, и многое другое в подобного рода существах и занятиях, однако в повседневной жизни они бывают очень приятны. Влюбленный же для своего любимца, кроме того что вреден, еще и всего несноснее при каждодневном общении. По старинной пословице, сверстник радуется сверстника. [20 – Схолиаст к данному

месту приводит пословицу в следующем виде: «Сверстник радуется сверстника, старик – старика». Ср.: Горгий, прим. 63.] Думаю, что равенство возраста ведет к равным удовольствиям и вследствие сходства порождает дружбу. Впрочем, даже общение со сверстниками вызывает иногда пресыщение; между тем навязчивость признается тягостной для всякого и во всем. Что же до несходства, так оно чрезвычайно велико между влюбленным и его любимцем. Когда они вместе, старшему не хочется покинуть младшего ни днем, ни ночью: его подстрекает неотступный яростный овод, суля все время наслаждения его зрению, слуху, осязанию; каждым ощущением ощущает он своего любимого, так что с удовольствием готов ему усердно служить. А в утешение какое удовольствие доставит возлюбленному влюбленный, заставляя того провести с ним ровно столько же времени? Разве тот не дойдет до крайней степени отвращения, видя уже немолодое лицо, отцветшее, как и все остальное, о чем неприятно даже слышать упоминание, не только что быть постоянно вынужденным соприкасаться на деле. И все время над ним неусыпный надзор, его всячески ото всех стерегут, он слышит неуместную, преувеличенную похвалу, но точно так же и упреки, невыносимые и от трезвого, а от пьяного, кроме того что невыносимые, еще и постыдные из-за своей излишней и неприкрытой откровенности.

Пока кто влюблен, он вреден и надоедлив, когда же пройдет его влюбленность, он становится вероломным. Много наобещав, надавав множество клятв и истратив столько же просьб, он едва-едва мог заставить своего любимца в чаянии будущих благ терпеть его общество – настолько оно было тому тягостно. Теперь он должен расплачиваться: вместо влюбленности и неистовства его властелинами сделались ум и рассудительность, между тем его любимец, не заметив происшедшей перемены, требует от него прежней благосклонности, напоминает все, что было сделано и сказано, и разговаривает с ним так, словно это все тот же человек. От стыда тот не решается сказать, что стал другим и что не знает, как выполнить клятвы и обещания, данные им, когда он был под властью прежнего безрассудства. Теперь к нему вернулись ум и рассудительность, так что он не способен стать снова похожим на то, чем он был прежде, то есть стать тем же самым, хотя бы он все еще совершал то же самое. Вот почему прежний влюбленный вынужден отречься и бежать: игральный черепок выпал другой стороной, и влюбленный, сделав крутой поворот, обращается в бегство. А прежний любимец вынужден, негодую и проклиная, преследовать его, не поняв с самого начала, что никогда не надо уступать влюбленному, который наверняка безрассуден, но лучше уступать тому, кто не влюблен, да зато в здравом уме. Иначе придется ему поддаться человеку неверному, сварливому, завистливому, противному, вредному для имущества, вредному и для состояния тела, а еще гораздо более вредному для воспитания души, ценнее которого поистине нет ничего ни у людей, ни у богов. Все это надо учесть, мой мальчик, и понимать, что дружба влюбленного возникает не из доброжелательства, но словно ради насыщения пищей: как волки ягнят, любят влюбленные мальчиков.[21 – Схолиаст считает эти строки пародией на «Илиаду» XXII 262–264: как невозможны меж львов и людей нерушимые клятвы, как меж волков и ягнят никогда не бывает согласия, друг против друга всегда только злое они замышляют. Пер. В. В. Вересаева.]

Так-то, Федр, позволь больше не занимать тебя моими рассуждениями – на этом я закончу свою речь.

Федр. А я думал, что это только ее половина и что ты столько же скажешь и о невлюбленном – о том, что надо скорее уступать ему, и укажешь на его хорошие стороны. Ты же, Сократ, почему-то остановился.

Сократ. Не заметил ли ты, дорогой мой, что у меня уже зазвучали эпические стихи, а не дифирамбы, хоть я только то и делал, что порицал? Если же я начну хвалить того, другого, что же я, по-твоему, буду делать? Знаешь ли ты, что я буду наверняка вдохновлен нимфами, которым ты не без умысла меня подбросил? Лучше уж я выражу все одним словом: тот, другой, хорош всем тем, что прямо противоположно свойствам, за которые мы порицали первого. Стоит ли об этом долго говорить? Достаточно сказано о них обоих: пусть с моим сказом будет то, чего он заслуживает, а я удаляюсь – перейду на тот берег реки, пока ты не принудил меня к чему-нибудь большему.

Федр. Только не прежде, Сократ, как спадет жара. Разве ты не видишь, что уже наступает полдень, который называют недвижимым?[22 – В полдень солнце кажется неподвижно стоящим в зените. Карпов переводит «полдень жгучий», так как σταθερά можно считать не только ж.

р. прилагательного «неподвижно стоящий»), но и (правда, с натяжкой) словом, производным от глагола «жечь».] Переждем, побеседуем еще о том, что было сказано, а как станет, быть может, прохладнее, мы и пойдем.

Сократ. По части речей ты, Федр, божественный и прямо-таки чудесный человек! Я думаю, что из всех речей, появившихся за время твоей жизни, никто не сочинил их больше, чем ты, – либо ты сам произносил их, либо принуждал к этому каким-нибудь образом других; за исключением фиванца Симмия, [23 – О Симмии см.: Федон, преамбула.] всех остальных ты намного превзошел. Вот и сейчас, кажется, по твоей вине я скажу речь!

Федр. Это еще не объявление войны. Но что за речь и почему?

Сократ. Лишь только собрался я, мой друг, переходить речку, мой гений подал мне обычное знамение, – а оно всегда удерживает меня от того, что я собираюсь сделать: мне будто послышался тотчас же какой-то голос, не разрешавший мне уйти, прежде чем я не искуплю некий свой проступок перед божеством. Я хоть и прорицатель, но довольно неважный, вроде как плохие грамотеи – лишь поскольку это достаточно для меня самого. Так вот, я уже ясно понимаю свой проступок – ведь и душа, друг мой, есть нечто вещное: еще когда я говорил ту свою речь, меня что-то тревожило и я как-то смущался: а вдруг я, по выражению Ивика, нерадение о богах

...сменяю на почесть людскую. [24 – Ивик (VI в.) – лирик из Региа (Южная Италия), автор хорových песен. По преданию, убит разбойниками, злодейство которых раскрыли журавли (ср. балладу Шиллера «Ивиковы журавли»). Фрагменты Ивика см. в изд. Диля, т. II и Эдмондса, т. III. Данная строка – fr. 22 Diehl. Ср. пер. В. В. Вересаева в книге «Эллинские поэты», фр. 12.]

Теперь же я чувствую, в чем мой проступок.

Федр. О чем ты говоришь?

Сократ. Ужасную, Федр, ужасную речь ты и сам принес, и меня вынудил сказать.

Федр. Как так?

Сократ. Нелепую и в чем-то даже нечестивую – а какая речь может быть еще ужаснее?

Федр. Никакая, если только ты прав.

Сократ. Да как же? Разве ты не считаешь Эрота сыном Афродиты и неким богом?

Федр. Действительно, так утверждают.

Сократ. Но не Лисий и не ты в той речи, которую ты произнес моими устами, околдованными тобою. Если же Эрот бог или как-то божествен – а это, конечно, так, – то он вовсе не зло, между тем в обеих речах о нем, которые только что у нас были, он представлен таким. Этим они обе погрешили перед Эротом, вдобавок при их недомыслии в них столько лоску, что хотя в них не утверждалось ничего здорового и истинного, однако они кичливо притязали на значительность, лишь бы провести каких-то людишек и прославиться среди них. Да, мой друг, мне необходимо очиститься. Для погрешающих против священных сказаний есть одно древнее очищение. Гомер его не знал, а Стесихор знал: лишившись зрения за поношение Елены, он не был так недогадлив, как Гомер, но понял причину и, будучи причастен Музам, тотчас же сочинил:

Не верно было слово это,
На корабли ты не всходила,
В Пергам троянский не плыла, –

а сочинив всю так называемую «Покаянную песнь», он сразу же прозрел. [25 – Стесихор (VII–VI вв.) из Гимеры в Сицилии – лирический поэт, автор хорových песен и устроитель хоров (отсюда и его имя). К строфе и антистрофе хора добавил еще эпод, так называемый припев. В словаре Суда [*Suidae lexicon graece et latine / Rec. G. Bernhardt. hōlis et Brunsvigae, 1853.]

(#931;#964;#951;#963;#943;#967;#959;#961;#959;#962;) читаем: «Говорят, что он, написав хулу на Елену, был ослеплен. По велению же во сне заново сочинил Елене хвалу, палинодию (#960;#945;#955;#953;#957;#969;#948;#943;#945;: букв. „обратную песнь“. – А. Т.-Г.), и вновь прозрел». Фрагменты Стесихора в т. II изд. Диля и в т. III Эдмондса. Данные стихи – fr. 11 Diehl.] Так вот в этом деле я буду умнее их: прежде чем со мной приключится что-нибудь за поношение Эрота, я попытаюсь пропеть ему покаянную песнь уже с непокрытой головой, а не закрываясь от стыда, как раньше.

Федр. Для меня, Сократ, нет ничего приятнее этих твоих слов.

Сократ. Ты, конечно, понимаешь, добрый мой Федр, насколько бесстыдно были сказаны обе те речи – и моя и та, что ты прочел по свитку. Если бы какому-нибудь благородному человеку, кроткого нрава, влюбленному или в прошлом любившему такого же человека, довелось услышать, как мы утверждали, что влюбленные из-за пустяков проникаются сильной враждой и тогда недоброжелательно относятся к своим любимцам и им вредят, – разве он, по-твоему, не подумал бы, что слышит речи людей, воспитывавшихся где-то среди моряков и не видавших никогда любви свободнорожденного человека, и разве он согласился бы с нашей хулою Эрота?

Федр. Пожалуй, нет, клянусь Зевсом, Сократ!

Сократ. И вот, устыдившись такого человека и убоявшись самого Эрота, я страстно желаю смыть с себя чистой речью всю эту морскую соленую горечь, заполнившую наш слух. Советую и Лисию как можно скорее написать, что, исходя из тех же побуждений, надо больше угождать влюбленному, чем невлюбленному.

Федр. Поверь, это так и будет. Если ты скажешь похвальное слово влюбленному, я непременно заставлю и Лисию в свою очередь написать сочинение о том же самом.

Сократ. Верю, пока ты останешься таким, как теперь.

Федр. Так начинай смелее!

Сократ. А где же у меня тот мальчик, к которому я обращался с речью? Пусть он и это выслушает, а то, не выслушав, он еще поспешит уступить тому, кто его не любит.

Федр. Он возле тебя, совсем близко, всегда, когда ты захочешь.

Вторая речь Сократа

Сократ. Так вот, прекрасный юноша, заметь себе: первая речь была речью Федра, сына Питокла, мирринусийца, а то, что я собираюсь сказать, будет речью Стесихора, сына Евфема, гимереяца. Он гласит так:

Неверно было слово это, –

будто при наличии влюбленного следует уступать скорее невлюбленному только из-за того, что влюбленный впадает в неистовство, а невлюбленный всегда рассудителен. Если бы неистовство было попросту злом, то это было бы сказано правильно. Между тем величайшие для нас блага возникают от неистовства, правда, когда оно уделяется нам как божий дар. [26 – Ср.: Хармид, прим. 29; Ион, прим. 14 и 16; Менон, прим. 46.] Прорицательница в Дельфах и жрицы в Додоне [27 – в Дельфах было прорицалище Аполлона (см.: Алкивиад I, прим. 46), в Додоне (Северная Греция, Эпир) – Зевса. В Додоне толкования оракула давали по шелесту листьев дуба, а в Дельфах – по предсказанию Пифии, треножник которой стоял над расселиной скалы. К этим оракулам в трудных обстоятельствах обращались не только люди по своим личным делам, но и целые государства в целях политических. Уже Гомер знает Додонский оракул, где его пророки-жрецы «ног не моют себе и спят на земле обнаженной» (Ил. XVI 233–235), а также «храм Аполлона, метателя стрел на Пифоне скалистом» (Ил. IX 405). Именно сюда перед Троянской войной приходил вождь всех ахейцев Агамемнон (Од. VIII 79–82).] в состоянии неистовства

сделали много хорошего для Эллады – и отдельным лицам и всему народу, а будучи в здравом рассудке, – мало или вовсе ничего. И если мы стали бы говорить о Сивилле [28 – См.: Феаг, прим. 15.] и других, кто с помощью божественного дара прорицания множеством предсказаний многих направил на верный путь, мы бы потратили много слов на то, что всякому ясно и так. Но вот на что стоит сослаться: те из древних, кто устанавливал значения слов, не считали неистовство (μανία) безобразием или позором – иначе они не прозвали бы «маническим» (μανική) то прекраснейшее искусство, посредством которого можно судить о будущем. Считая его прекрасным, когда оно проявляется по божественному определению, они его так и прозвали, а наши современники, по невежеству вставив букву «тау», называют его «мантическим» (μαντική). [29 – «Мантический» – букв. «пророческий», «манический», «вдохновенный», «безумствующий». Рассуждения Сократа (ниже в тексте) о происхождении слов «ойонистика» (от οιωνός – «птица») – птицагадание – и «ойоноистика» (искусственно образовано Сократом от οίωνίζομαι – «предчувствовать» и νοέω – «думать») – гадание посредством ума – созвучны рассуждениям об этимологии слов в «Кратиле».] А гадание о будущем, когда люди, находящиеся в полном рассудке, производят его по птицам и другим знаменьям, в которых, словно нарочно, заключаются для человеческого ума (ονησις) и смысл (νους), и знания (ιστορία), древние называли «ойоноистикой» (οίονοϊστική), а люди нового времени кратко называют «ойонистикой» (οίωνιστική), с омегой ради пышности. Так вот, насколько прорицание совершеннее и ценнее птицагадания – тут и название лучше и само дело, – настолько же, по свидетельству древних, неистовство, которое у людей от бога, прекраснее рассудительности, свойства человеческого.

Избавление от болезней, от крайних бедствий, от тяготевшего издревле гнева богов бывало найдено благодаря неистовству, появившемуся откуда-то в некоторых семействах и дававшему прорицания, кому это требовалось. Неистовство разрешалось в молитвах богам и служении им, и человек, охваченный им, удостоивался очищения и посвящения в таинства, становясь неприкосновенным на все времена для окружающих зол, освобождение от которых доставалось подлинно неистовым и одержимым.

Третий вид одержимости и неистовства – от Муз, он охватывает нежную и непорочную душу, пробуждает ее, заставляет выражать вакхический восторг в песнопениях и других видах творчества и, украшая несчетное множество деяний предков, воспитывает потомков. Кто же без неистовства, посланного Музами, подходит к порогу творчества в уверенности, что он благодаря одному лишь искусству станет изрядным поэтом, тот еще далек от совершенства: творения здравомыслящих затмятся творениями неистовых.

Вот сколько – и еще больше – могу я привести примеров прекрасного действия неистовства, даруемого богами. Так что не стоит его бояться, и пусть нас не тревожит и не запугивает никакая речь, утверждающая, будто следует предпочитать рассудительного друга тому, кто охвачен порывом. Пусть себе торжествуют победу те, кто докажет к тому же, что не на пользу влюбленному и возлюбленному ниспосылается богами любовь, – нам надлежит доказать, наоборот, что подобное неистовство боги даруют для величайшего счастья. Такому доказательству наши искусники не поверят, зато поверят люди мудрые. Прежде всего надо вникнуть в подлинную природу божественной и человеческой души, рассмотрев ее состояния и действия. Начало же доказательства следующее.

Всякая душа бессмертна. [30 – Подробнее см.: Горгий, прим. 80.] Ведь вечнодвижущееся бессмертно. А у того, что сообщает движение другому и прерывается в движении другим, это движение прерывается, а значит, никогда не перестает и двигаться и служить источником и началом движения для всего остального, что движется. Начало же не имеет возникновения. Из начала необходимо возникает все возникающее, а само оно ни из чего не возникает. Если бы начало возникло из чего-либо, оно уже не было бы началом. Так как оно не имеет возникновения, то, конечно, оно и

неуничтожимо. Если бы погибло начало, оно никогда не могло бы возникнуть из чего-либо, да и другое из него, так как все должно возникать из начала. Значит, начало движения – это то, что движет само себя. Оно не может ни погибнуть, ни возникнуть, иначе бы все небо и вся Земля, обрушившись, остановились и уже неоткуда было бы взяться тому, что, придав им движение, привело бы к их новому возникновению.

Раз выяснилось, что бессмертно все движимое самим собою, всякий без колебания скажет то же самое о сущности и понятии души. Ведь каждое тело, движимое извне, – неодушевлено, а движимое изнутри, из самого себя, – одушевлено, потому что такова природа души. Если это так и то, что движет само себя, есть не что иное, как душа, из этого необходимо следует, что душа непорождаема и бессмертна.

О ее бессмертии достаточно этого. А об ее идее надо сказать вот что: какова она – это всячески требует божественного и пространного изложения, а чему она подобна – это поддается и человеческому, более сжатому; так мы и будем говорить.

Уподобим душу соединенной силе крылатой парной упряжки и возничего. У богов и кони и возничие все благородны и происходят от благородных, а у остальных они смешанного происхождения. Во-первых, это наш повелитель правит упряжкой, а затем, и кони-то у него – один прекрасен, благороден и рожден от таких же коней, а другой конь – его противоположность и предки его – иные. Неизбежно, что править нами – дело тяжелое и докучное.

Попробуем сказать и о том, как произошло название смертного и бессмертного существа. Всякая душа ведает всем неодушевленным, распространяется же она по всему небу, принимая порой разные образы. Будучи совершенной и окрыленной, она парит в вышине и правит миром, если же она теряет крылья, то носится, пока не натолкнется на что-нибудь твердое, – тогда она вселяется туда, получив земное тело, которое благодаря ее силе кажется движущимся само собой; а что зовется живым существом, – все вместе, то есть сопряжение души и тела, получило прозвание смертного.

О бессмертном же нельзя судить лишь по одному этому слову. Не видав и мысленно не постигнув в достаточной мере бога, мы рисуем себе некое бессмертное существо, имеющее душу, имеющее и тело, причем они нераздельны на вечные времена. Впрочем, тут, как угодно богу, так пусть и будет и так пусть считается.

Мы же коснемся причины утраты крыльев, почему они отпадают у души. Причина здесь, видимо, такая: крылу от природы свойственна способность подымать тяжелое в высоту, туда, где обитает род богов. А изо всего, что связано с телом, душа больше всего приобщила к божественному – божественное же прекрасно, мудро, доблестно и так далее; этим вскармливаются и взращиваются крылья души, а от всего противоположного – от безобразного, дурного – она чахнет и гибнет.

Великий предводитель на небе, Зевс, на крылатой колеснице едет первым, все упорядочивая и обо всем заботясь. За ним следует воинство богов и гениев, выстроенное в одиннадцать отрядов; одна только Гестия [31 – см.: Кратил, прим. 41.] не покидает дома богов, а из остальных все главные боги, что входят в число двенадцати, предводительствуют каждый порученным ему строем.

В пределах неба есть много блаженных зрелищ и путей, которыми движется счастливый род богов; каждый из них свершает свое, а [за ними] следует всегда тот, кто хочет и может, – ведь зависть чужда сонму богов.

Отправляясь на праздничный пир, они поднимаются к вершине по краю поднебесного свода, и уже там их колесницы, не теряющие равновесия и хорошо управляемые, легко совершают путь; зато остальные двигаются с трудом, потому что конь, причастный злу, всей тяжестью тянет к земле и удручает своего возничего, если тот плохо его вырастил. От этого душе приходится мучиться и крайне напрягаться.

Души, называемые бессмертными, когда достигнут вершины, выходят наружу и останавливаются на небесном хребте; они стоят, небесный свод несет их в круговом движении, и они созерцают то, что за пределами неба.

Занебесную область не воспел никто из здешних поэтов, да никогда и не

воспоет по достоинству. Она же вот какова (ведь надо наконец осмелиться сказать истину, особенно когда говоришь об истине): эту область занимает бесцветная, без очертаний, неосязаемая сущность, подлинно существующая, зримая лишь кормчему души – уму; на нее-то и направлен истинный род знания.

Мысль бога питается умом и чистым знанием, как и мысль всякой души, которая стремится воспринять надлежащее, узрев [подлинное] бытие, хотя бы и ненадолго, ценит его, питается созерцанием истины и блаженствует, пока небесный свод не перенесет ее по кругу опять на то же место. При этом кругообороте она созерцает самую справедливость, созерцает рассудительность, созерцает знание – не то знание, которому присуще возникновение и которое как иное находится в ином, называемом нами сейчас существующим, но подлинное знание, содержащееся в подлинном бытии. Насладившись созерцанием всего того, что есть подлинное бытие, душа снова спускается во внутреннюю область неба и приходит домой. По ее возвращении возникший ставит коней к яслям, задает им амброзии и вдобавок поит нектаром.

Такова жизнь богов. Что же до остальных душ, то у той, которая всего лучше последовала богу и уподобилась ему, голова возникшего поднимается в занебесную область и несется в круговом движении по небесному своду; но ей не дают покоя кони, и она с трудом созерцает бытие. Другая душа то поднимается, то опускается – кони рвут так сильно, что она одно видит, а другое нет. Вслед за ними остальные души жадно стремятся кверху, но это им не под силу, и они носятся по кругу в глубине, топчут друг друга, напираят, пытаясь опередить одна другую. И вот возникает смятение, борьба, от напряжения их бросает в пот. Возниким с ними не справиться, многие калечатся, у многих часто ломаются крылья. Несмотря на крайние усилия, всем им не достичь созерцания [подлинного] бытия, и, отойдя, они довольствуются мнимым пропитанием.

Но ради чего так стараются узреть поле истины, увидеть, где оно? Да ведь как раз там, на лугах, пастбище для лучшей стороны души, а природа крыла, поднимающего душу, этим и питается. Закон же Адрастеи[32 – См.: Горгий, прим. 80 (с. 812).] таков: душа, ставшая спутницей бога и увидевшая хоть частицу истины, будет благополучна вплоть до следующего кругооборота, и, если она в состоянии совершать это всегда, она всегда будет невредимой. Когда же она не будет в силах сопутствовать и видеть, но, постигнутая какой-нибудь случайностью, исполнится забвения и зла и отяжелеет, а отяжелев, утратит крылья и падет на землю, тогда есть закон, чтобы при первом рождении не вселялась она ни в какое животное. Душа, видевшая всего больше, попадает в плод будущего поклонника мудрости и красоты или человека, преданного Музам и любви; вторая за ней – в плод царя, соблюдающего законы, в человека воинственного или способного управлять; третья – в плод государственного деятеля, хозяина, добытчика; четвертая – в плод человека, усердно занимающегося упражнением или врачеванием тела; пятая по порядку будет вести жизнь прорицателя или человека, причастного к таинствам; шестой пристанет подвизаться в поэзии или другой какой-либо области подражания; седьмой – быть ремесленником или земледельцем; восьмая будет софистом или демагогом; девятая – тираном. Во всех этих призваниях тот, кто проживет, соблюдая справедливость, получит лучшую долю, а кто ее нарушит – худшую.

Но туда, откуда она пришла, никакая душа не возвращается в продолжение десяти тысяч лет – ведь она не окрылится раньше этого срока, за исключением души человека, искренне возлюбившего мудрость или сочетавшего любовь к ней с влюбленностью в юношей: эти души окрыляются за три тысячелетних круговорота, если три раза подряд изберут для себя такой образ жизни, и на трехтысячный год отходят. Остальные же по окончании своей первой жизни подвергаются суду, а после приговора суда одни отбывают наказание, сошедши в подземные темницы, другие же, кого Дике[33 – См. там же (с. 813).] облегчила от груза и подняла в некую область неба, ведут жизнь соответственно той, какую они прожили в человеческом образе. На тысячный год и те и другие являются, чтобы получить себе новый удел и выбрать себе вторую жизнь – кто какую захочет. Тут человеческая душа может получить и жизнь животного, а из того животного, что было когда-то человеком, душа может снова вселиться в человека; но душа, никогда не выдавшая истины, не примет такого образа, ведь человек должен постигать [ее] в соответствии с идеей, исходящей от многих чувственных восприятий, но сводимой рассудком воедино. А это есть припоминание[34 – См.: Менон, прим. 23.] того, что некогда видела наша душа, когда она сопутствовала богу, свысока глядела на то, что мы теперь называем бытием, и поднималась до подлинного бытия.

Поэтому по справедливости окрыляется только разум философа: у него всегда по мере его сил память обращена на то, чем божествен бог. Только человек, правильно пользующийся такими воспоминаниями, всегда посвящаемый в совершенные таинства, становится подлинно совершенным. И так как он стоит вне человеческой суеты и обращен к божественному, большинство, конечно, станет увещевать его, как помешанного, – ведь его исступленность скрыта от большинства.

Вот к чему пришло все наше рассуждение о четвертом виде неистовства: когда кто-нибудь смотрит на здешнюю красоту, припоминая при этом красоту истинную, он окрыляется, а окрылившись, стремится взлететь; но, еще не набрав сил, он наподобие птенца глядит вверх, пренебрегая тем, что внизу, – это и есть причина его неистового состояния. Из всех видов исступленности эта – наилучшая уже по самому своему происхождению, как для обладающего ею, так и для того, кто ее с ним разделяет. Причастный к такому неистовству любитель прекрасного называется влюбленным. Ведь, как уже сказано, всякая человеческая душа по своей природе бывала созерцательницей бытия, иначе она не вселилась бы в это живое существо.

Припоминать то, что там, на основании того, что есть здесь, нелегко любой душе: одни лишь короткое время созерцали тогда то, что там; другие, упав сюда, обратились под чужим воздействием к неправде и на свое несчастье забыли все священное, виденное ими раньше. Мало остается таких душ, у которых достаточно сильна память. Они всякий раз, как увидят что-нибудь, подобное тому, что было там, бывают поражены и уже не владеют собой, а что это за состояние, они не знают, потому что недостаточно в нем разбираются. В здешних подобию нет вовсе отблеска справедливости, воздержности и всего другого, ценного для души, но, подходя к этим изображениям, кое-кому, пусть и очень немногим, все же удастся, хотя и с трудом, разглядеть при помощи наших несовершенных органов, к какому роду относится то, что изображено.

Сияющую красоту можно было видеть тогда, когда мы вместе со счастливым сонмом видели блаженное зрелище, одни – следуя за Зевсом, а другие – за кем-нибудь другим из богов, и приобщались к таинствам, которые можно по праву назвать самыми блаженными и которые мы совершали, будучи сами еще непорочными и не испытанными зла, ожидавшего нас впоследствии. Допущенные к видениям непорочным, простым, неколебимым и счастливым, мы созерцали их в свете чистом, чистые сами и еще не отмеченные, словно надгробием, той оболочкой, которую мы теперь называем телом и которую не можем сбросить, как улитка – свой домик. [35 – О теле как могиле души см.: Горгий, прим. 45.]

Благодаря памяти возникает тоска о том, что было тогда, – вот почему мы сейчас подробно говорили об этом. Как мы и сказали, красота сияла среди всего, что там было; когда же мы пришли сюда, мы стали воспринимать ее сияние всего отчетливее посредством самого отчетливого из чувств нашего тела – зрения, ведь оно самое острое из них. Но разумение недоступно зрению, иначе разумение возбудило бы необычайную любовь, если бы какой-нибудь отчетливый его образ оказался доступен зрению; точно так же и все остальное, что заслуживает любви. Только одной красоте выпало на долю быть наиболее зримой и привлекательной. Человек, очень давно посвященный в таинства или испорченный, не слишком сильно стремится отсюда туда, к красоте самой по себе: он видит здесь то, что носит одинаковое с нею название, так что при взгляде на это он не испытывает благоговения, но, преданный наслаждению, пытается, как четвероногое животное, покрыть и оплодотворить; он не боится наглого обращения и не стыдится гнаться за протivoестественным наслаждением. Между тем человек, только что посвященный в таинства, много созерцавший тогда все, что там было, при виде божественного лица, хорошо воспроизводящего [ту] красоту или некую идею тела, сперва испытывает трепет, на него находит какой-то страх, вроде как было с ним и тогда; затем он смотрит на него с благоговением, как на бога, и, если бы не боялся прослыть совсем неистовым, он стал бы совершать жертвоприношения своему любимцу, словно кумиру или богу. А стоишь к тому на него взглянуть, как он сразу меняется, он как в лихорадке, его бросает в пот и в необычный жар.

Восприняв глазами истечение красоты, [36 – учение об истечениях ('απορροή)] от предмета, которые воздействуют на чувственное восприятие человека, характерно особенно для натурфилософских воззрений Эмпедокла и Демокрита. Эмпедокл пишет: «Знай, что из всех существующих предметов истекают токи» (В 89 Diels). Для

Эмпедокла свет – это «тело, вытекающее из светящегося тела» (А 57 Diels) ; «цвета несутся к зрению истечениями» так же, как запахи, которые «суть истечения», причем «из элементов только один огонь дает истечения, другие же нет» (А 86 Diels). Демокрит, по свидетельству Теофраста, считал, что «от всего всегда происходит некоторое истечение», поэтому «мы видим вследствие вхождения в нас идолов (образов)» (А 135, 1 Diels).] он согревается, а этим укрепляется природа крыла: от тепла размягчается вокруг ростка все, что ранее затвердело от сухости и мешало росту; благодаря притоку питания, стержень перьев набухает, и они начинают быстро расти от корня по всей душе – ведь она вся была искони пернатой. Пока это происходит, душа вся кипит и рвется наружу. Когда прорезываются зубы, бывает зуд и раздражение в деснах – точно такое же состояние испытывает душа при начале роста крыльев: она вскипает и при этом испытывает раздражение и зуд, рождая крылья.

Глядя на красоту юноши, она принимает в себя влекущиеся и истекающие оттуда частицы – недаром это называют влечением:[37 – Здесь столь излюбленная Сократом игра слов. По-греч. «частица» – μέρος , «влечение» – ίμερος . Исхождение частиц можно сравнить с исхождением от предметов его «эйдолов» – отображений (см. прим. 35). По Гиппократу, благодаря жизненной силе «проникают в человека части всех частей» и «каждая же [отдельная] душа колеблется между обладанием бόльшим и меньшим числом частиц, приобретая для себя всякие частицы» (22 с 1 Diels).] впитывая их, она согревается, избавляется от муки и радуется. Когда же она вдалеке от него, она сохнет: отверстия проходов, по которым пробиваются перья, ссыхаются, закрываются, и ростки перьев оказываются взаперти. Запертые внутри вместе с влечением, они бьются наподобие пульса, трут и колют, ища себе выхода – каждый росток отдельно для себя, – так что душа, вся изнутри исколотая, мучается и терзается, но все же, храня память о прекрасном, радуется.

Странность такого смешения ее терзает, в недоумении она неистовствует, и от исступления не может она ни спать ночью, ни днем оставаться на одном месте. В тоске бежит она туда, где думает увидеть обладателя красоты. При виде его влечение разливается по ней, и то, что было ранее заперто, раскрывается: для души это передышка, когда прекращаются уколы и муки, в это время вкушает она сладчайшее удовольствие. По доброй воле она никогда от него не откажется, ее красавец для нее дороже всех; тут забывают и о матерях, и о братьях, и о всех приятелях, и потеря – по нерадению – состояния ей также нипочем. Презрев все обычаи и приличия, соблюдением которых щеголяла прежде, она готова рабски служить своему желанному и валяться где попало, лишь бы поближе к нему – ведь помимо благоговения перед обладателем красоты она обрела в нем единственного исцелителя величайших страданий.

Состояние, о котором у меня речь, прекрасный мой мальчик, люди зовут Эротом, а боги – ты, наверное, улыбнешься новизне прозвания: думаю, это кто-то из гомеридов приводит из отвергаемых песен два стиха об Эроте, причем один из них очень дерзкий и не слишком складный; поют же их так:

Смертные все прозвали его Эротом крылатым,
Боги ж – Птеротом, за то, что расти заставляет он
крылья.[38 – Ср.: Кратил, прим. 15. Птерот – от τό
πτερόν («крыло»). О гомеридах см.: Ион, прим. 6.]

Этому можно верить, можно и не верить. Как бы то ни было, но причина такого состояния влюбленных именно в этом.

Если Эротом охвачен кто-нибудь из спутников Зевса, он в силах нести и более тяжелое бремя этого тезки крыла. Служители же Арея, [39 – См.: Кратил, прим. 56.] вместе с ним совершавшие кругооборот, бывают склонны к убийству, если их одолел Эрот и они вдруг решат, что их чем-то обижает тот, в кого они влюблены; они готовы принести в жертву и самих себя, и своего любимца. Соответственно обстоит дело и с каждым богом: в сонме кого кто был, тот того и почитает и по мере сил подражает ему и в своей жизни, пока еще не испорчен и пока живет здесь в первом своем рождении, и в том, как он ведет себя и общается со своим возлюбленным и с остальными людьми.

Каждый выбирает среди красавцев возлюбленного себе по нраву и, словно это и есть Эрот, делает из него для себя кумира и украшает его, словно для священнодействий. Спутники Зевса ищут Зевсовой души в своем возлюбленном: они смотрят, склонен ли он по своей природе быть философом и вождем, и,

когда найдут такого, влюбляются и делают все, чтобы он таким стал. Если раньше они этим не занимались, то теперь они за это берутся, собирают сведения откуда только могут и учатся сами. Они стремятся выследить и найти в самих себе природу своего бога и добиваются успеха, так как принуждены пристально в этого бога всматриваться. Становясь прикосновенными ему при помощи памяти, они в исступлении воспринимают от него обычаи и нравы, насколько может человек быть причастен богу. Считая, что всем этим они обязаны тому, в кого влюблены, они еще больше его ценят; черпая у Зевса, словно вакханки, и изливая почерпнутое в душу любимого, они делают его как можно более похожим на своего бога. Те же, кто следовал за Герой, ищут юношу царственных свойств и, найдя такого, ведут себя с ним точно так же.

Спутники Аполлона и любого из богов, идя по стопам своего бога, ищут юношу с такими же природными задатками, как у них самих, и, найдя его, убеждают его подражать их богу, как это делают они сами. Приучая любимца к стройности и порядку, они, насколько это кому по силам, подводят его к занятиям и к идее своего бога. Они не обнаруживают ни зависти, ни низкой вражды к своему любимцу, но всячески стараются сделать его похожим на самих себя и на бога, которого почитают. Если истинно влюбленные осуществляют так, как я говорю, то и к чему они усердно стремятся, то их усердие и посвященность в таинства оказываются прекрасными и благодетельными для того, кого взял себе в друзья его неистовый от любви друг. Пленение же избранника происходит следующим образом.

В начале этой речи мы каждую душу разделили на три вида: две части ее мы уподобили коням по виду, третью – возничему. Пусть и сейчас это будет так. Из коней, говорим мы, один хорош, а другой нет. А чем хорош один и плох другой, мы не говорили, и об этом надо сказать сейчас. Так вот, один из них прекрасных статей, стройный на вид, шея у него высокая, храп с горбинкой, масть белая, он черноокий, любит почет, но при этом рассудителен и совестлив; он друг истинного мнения, его не надо погонять бичом, можно направлять его одним лишь приказанием и словом. А другой – горбатый, тучный, дурно сложен, шея у него мощная, да короткая, он курносый, черной масти, а глаза светлые, полнокровный, друг наглости и похвальбы, от косм вокруг ушей он глухой и еле повинуется бичу и стрекалам.

Когда перед взором возничего предстает нечто достойное любви, чувство горячит ему всю душу и его терзают зуд и жала возбуждения, тот конь, что послушен возничему, одолеваемый своей обычной стыдливостью, сдерживает свой бег, чтобы не наскочить на любимого. А другого коня возничему уже не свернуть ни стрекалом, ни бичом: он вскачь несется изо всех сил. С ним мучение и его сотоварищу по упряжке, и возничему, он принуждает их приступить к любимцу с намеками на соблазнительность любовных утех. Оба они сперва сопротивляются, негодуя, потому что их принуждают к ужасным и незаконным делам. В конце же концов, так как беде нет предела, они поддаются туда, куда он их тянет, уступают и соглашаются выполнить его веления.

Вот они уже близко от любимого и видят его сверкающий взор. При взгляде на него память возничего несется к природе красоты и снова видит ее, воздвигающуюся вместе с рассудительностью на чистом и священном престоле, а увидев, устрашается, от благоговейного стыда падает навзничь и тем самым неизбежно натягивает вожжи так сильно, что оба коня заваливаются назад – один охотно, так как он не противится, но другой, наглый, – совсем против воли. Отпрянув назад, один конь от стыда и потрясения в душе обливаётся потом, а другой, чуть стихнет боль от узды и падения, едва переведя дух, начинает в гневе браниться, поносить и возничего, и сотоварища по упряжке за то, что те из трусости и по отсутствию мужества покинули строй вопреки уговору. И снова он принуждает их подойти против воли и с трудом уступает их просьбам отложить это до другого раза.

С наступлением назначенного срока он напоминает им об этом, а они делают вид, будто забыли. Он пускает в ход силу, ржет, тащит, принуждая приступить к любимцу с теми же речами. Чуть только они приблизятся к нему, он изгибается, вытягивает хвост и, закусив удила, бесстыдно тянет вперед.

Возничий, еще более испытывая прежнее состояние, откидывается назад, словно от бегового барьера, изо всех сил натягивает узду между зубами наглого коня, в кровь ранит ему злоречивый его язык и челюсти, пригнетая его голени и бедра к земле и причиняя ему боль. После того как дурной конь часто испытает это же самое и отбросит наглость, он смиренно следует намерениям

своего вознического и при виде красавца погибает от страха. Тогда и получается, что душа влюбленного следует за любимцем со стыдом и боязнью. Тот, кто не прикидывается влюбленным, а подлинно это переживает, чтит его всячески как богоравного. Да и сам юноша по своей природе – друг почитателю. Если раньше его осуждали его школьные товарищи или еще кто-нибудь, говоря, что постыдно сближаться с влюбленным, и потому он отталкивал влюбленного, то с течением времени юный возраст и неизбежность приведут его к этому общению. Ведь нет такого определения судьбы, чтоб дурной дурному был другом, а хороший хорошему – нет. Когда юноша допустит к себе влюбленного, вступит с ним в разговор и общение, близко увидит его благосклонность, он бывает поражен: он замечает, что дружба всех других его друзей и близких, вместе взятых, ничего не значит в сравнении с его боговдохновенным другом. Он постепенно сближается с влюбленным, соприкасаясь с ним в гимназиях и в других собраниях, и тогда поток того истечения, которое Зевс, влюбленный в Ганимеда, [40 – Ганимед – сын царя Троса, похищенный Зевсом и ставший на Олимпе виночерпием богов (Ил. XX 231–235) и любимцем Зевса (О1. I 43–45 Snell – Maehler). В обмен Зевс подарил Тросу божественных коней (Ил. V 265–267).] назвал влечением, обильно изливаясь на влюбленного, частью проникает в него, а частью, когда он уже переполнен, вытекает наружу. Как дуновение или звук, отраженные гладкой и твердой поверхностью, снова несутся туда, откуда они исходили, так и поток красоты снова возвращается в красавца чрез очи, то есть тем путем, по которому ему свойственно проникать в душу, теперь уже окрыленную; он орошает проходы крыльев, вызывает их рост и наполняет любовью душу возлюбленного.

Он любит, но не знает, что именно. Он не понимает своего состояния и не умеет его выразить; наподобие заразившегося от другого глазной болезнью, он не может найти ее причину – от него утаилось, что во влюбленном, словно в зеркале, он видит самого себя; когда тот здесь, у возлюбленного, как и у него самого, утихает боль, когда его нет, возлюбленный тоскует по влюбленному так же, как тот по нему: у юноши это всего лишь подобие, отображение любви, называет же он это, да и считает, не любовью, а дружбой. Как и у влюбленного, у него тоже возникает желание – только более слабое – видеть, прикасаться, целовать, лежать вместе, и в скором времени он, естественно, так и поступает. Когда они лежат вместе, безудержный конь влюбленного находит, что сказать возническому, и просит хоть малого наслаждения в награду за множество мук. Зато конь любимца не находит, что сказать; в волнении и смущении обнимает тот влюбленного, целует, ласкает его, как самого преданного друга, а когда они лягут вместе, он не способен отказать влюбленному в его доле наслаждения, если тот об этом попросит. Но товарищ по упряжке вместе с возничим снова противятся этому, стыдясь и убеждая.

Если победят лучшие духовные задатки человека, его склонность к порядку в жизни и к философии, то влюбленный и его любимец блаженно проводят здешнюю жизнь в единомыслии, владея собой и не нарушая скромности, поработив то, из-за чего возникает испорченность души, и дав свободу тому, что ведет к добродетели. После смерти, став крылатыми и легкими, они одерживают победу в одном из трех поистине олимпийских состязаний, [41 – Под тремя олимпийскими состязаниями здесь в переносном смысле понимается путь, трижды пройденный душой. Победа одерживается в том случае, если душа трижды, т.е. в течение трех тысяч лет, избирает одну и ту же истинно философскую жизнь. Ср. 248c – 249d – о переселении душ в материальные тела на земле и о суде над душами.] а большего блага не может дать человеку ни человеческий здравый смысл, ни божественное неистовство.

Если же они будут вести более грубую жизнь, чуждую философии и исполненную честолюбия, тогда, возможно, их безудержные кони, застав души врасплох – в минуту ли опьянения или просто беззаботности, – сведут их вместе и заставят их выбрать и свершить то, что превозносится большинством как самый блаженный удел. А свершив это, они и впредь будут к этому прибегать, хотя и нечасто, потому что это не согласуется с их общим духовным складом. Они тоже дружны, хотя и не так, как те, первые, и не расстаются не только пока влюблены, но и тогда, когда это пройдет, считая, что, раз они дали друг другу величайшие клятвы в верности, их уже нельзя нарушать и идти на сору. При кончине они, хотя и бескрылые, покидают тело, уже полные стремления окрылиться, так что они тоже получают немалую награду за свое любовное неистовство. Ведь нет такого закона, чтобы сходили во мрак и странствовали под землей те, кто уже вступил на путь поднебесного странствия, – напротив, им назначена светлая жизнь и дано быть счастливыми, вместе странствовать и

благодаря любви стать одинаково открытыми, когда придет срок. [42 – Душа, расставшаяся с нечистым телом, но еще проникнутая телесностью, тяжелеет, и «эта тяжесть тянет ее в видимый мир», где она, как призрак, «бродит среди надгробий и могил» (Федон 81 с). Однако души тех, кто сильно любил, получают награду за свою любовь, стремятся отрастить крылья и не сходят во мрак.]

Вот сколько божественных даров даст тебе, мой мальчик, дружба влюбленного. А близость с человеком, в тебя не влюбленным, разбавленная здравым смыслом смертных, руководствующаяся расчетливостью смертных, порождающая в душе милого низменный образ мыслей, восхваляемый большинством как добродетель, приведет только к тому, что душа будет девять тысяч лет бессмысленно слоняться по земле и под землей.

Вот, милый Эрот, дар тебе и возмещение: прекраснейшая и наилучшая покаянная песнь [43 – Покаянная песнь, палинодия – ср. прим. 25.] – в меру наших сил. Это из-за Федра пришлось ее пропеть, да еще в особо поэтических выражениях. Если ты прощаешь мне прежнюю речь и тебе приятна эта, будь благосклонен и милостив: не отнимай у меня и не губи в гневе дарованное тобой же искусство любви. Дай, чтоб я стал дороже красавцам, чем до сих пор. Если в прежней речи мы с Федром сказали что-нибудь тебе не созвучное, вини в этом Лисия: он отец той речи. Отврати его от таких речей, обрати его к философии, как уже обратился к ней его брат Полемарх, [44 – Полемарх, старший брат Лисия, и отец его Кефал – участники диалога Платона «Государство». См.: указ. диалог, преамбула.] чтобы этот поклонник Лисия не колебался более, как сейчас, но посвятил бы всю свою жизнь Эроту и философским речам!

Теория красноречия на основе учения о душе

Федр. Я молюсь вместе с тобой, Сократ: раз так для нас лучше, пусть так и сбудется! А речи твоей я уже давно удивляюсь – насколько красивее она у тебя вышла, чем первая. Я даже опасуюсь, как бы Лисий не показался мне мелким, если бы он пожелал противопоставить ей какую-нибудь другую речь. Да и в самом деле, удивительный ты человек, недавно один из наших государственных мужей бранил Лисия и попрекал, а ругая, все время называл его сочинителем речей. [45 – Государственный муж – возможно, Архин (см. Менексен, прим. 4), который был против предоставления сицилийцу Лисию афинского гражданства. Эта история рассказана Плутархом в «Жизни десяти ораторов», в главе «Лисий» (835с – 836b). Сочинитель речей – «логограф» (см., например, Евтидем, прим. 58).] Быть может, Лисий из самолюбия воздержится теперь у нас от писательства.

Сократ. Ох, юноша, смешные вещи ты говоришь! Ты совсем ошибаешься насчет твоего приятеля, если думаешь, что он так пуглив. По-твоему, и тот, кто его бранил, действительно высказывал порицание?

Федр. Так казалось, Сократ. Ты и сам знаешь, что люди влиятельные и почитаемые в городе стесняются писать речи и оставлять после себя сочинения, боясь, как бы молва не назвала их потом софистами.

Сократ. Ты забыл, Федр, что сладостная излуцина получила свое название от большой излучины на Ниле. [46 – Излучина на Ниле, сокращавшая путь между Навкратисом и Мемфисом, но чрезвычайно опасная, именовалась древними евфемистически «сладкой» или «доброй». Ср. например, Мыс Доброй Надежды (вместо Мыса Бурь) или Понт Евксинский – «Гостеприимный» (вместо Понта Аксинос – «Негостеприимный»). Здесь выражение употреблено в переносном смысле: государственным людям приятно писать речи, но это трудно, и они отказываются от своей задачи, боясь прослыть софистами, которых всегда порицали афинские обыватели, те самые «многие», «толпа», с чьим мнением, по Платону, Сократ никогда не считался, хотя они и могли принести большой вред. См.: Критон, прим. 6, 11.] Кроме этой излучины ты не замечаешь и того, что как раз государственные мужи, много о себе воображающие, особенно любят писать речи и оставлять после себя сочинения. Написав какую-нибудь речь, они так ценят тех, кто ее одобряет, что на первом месте упоминают, кто и в каком случае их одобрил.

Федр. Как ты говоришь, не понимаю?

Сократ. Разве ты не знаешь, что в начале каждого государственного постановления указывается прежде всего, кто его одобрил?

Федр. То есть?

Сократ. «Постановил» – так ведь говорится – «совет», или «народ», или они оба; «такой-то внес предложение» – здесь составитель речи с большой важностью и похвалой называет свою собственную особу, затем он переходит к изложению, выставляя напоказ перед теми, кто его одобрил, свою мудрость, причем иногда его сочинение получается чрезвычайно пространным. Это ли, по-твоему, не записанная речь?

Федр. Да, конечно.

Сократ. И вот, если его предложение будет принято, творец речи уходит из театра, радуясь. [47 – Творец речи уходит из театра, радуясь – может быть, потому, что в афинском театре происходили часто заседания народного собрания. В греч. тексте ό ποιητής – слово, которое можно понимать узко – «поэт» и широко – «автор вообще». Это или прямое сравнение: он уходит «с веселием в сердце, как поэт из театра» (Карпов), или подразумеваемое: «Если предложение принято, то поэт (Dichter), полный радости, уходит со зрелища домой» (О. Апельт).] Если же оно будет отвергнуто, если он потерпит неудачу в сочинении речей, и его речь не будет достойна записи, тогда горюет и он сам и его приятели.

Федр. Конечно.

Сократ. Очевидно, они не презирают этого занятия, но, напротив, восхищаются им.

Федр. И даже очень.

Сократ. А если появится такой способный оратор или царь, что, обладая могуществом Ликурга, Солона, или Дария, [48 – Ликург (см.: Критон, прим. 15), по Фукидиду (I 18), жил в IX в., по Плутарху (Ликург VII, XXXIX // Сравнительные жизнеописания. Т. 1), – в X–IX вв. О Солоне см.: Менексен, прим. 50. Дарий I прославился укреплением и расширением своего государства. При нем началась греко-персидская война. См.: Менексен, прим. 21.] обессмертит себя в государстве и как составитель речей? Разве не будет он сам себя считать богоравным еще при жизни? И разве не будет то же считать и потомство, взирая на его сочинения?

Федр. Конечно.

Сократ. Так, по-твоему, кто-либо из таких людей, как бы неприятен ему ни был Лисий, стал бы порицать его за то, что он пишет?

Федр. Из твоих слов вытекает, что это невероятно, иначе вышло бы, что он порицает то, к чему сам стремится.

Сократ. Значит, всякому ясно, что писать речи само по себе не постыдно (αίσχρόν).

Федр. А что же тогда постыдно?

Сократ. По-моему, постыдно говорить и писать не так, как следует, а безобразно (αίσχρως) и злонамеренно.

Федр. Это ясно.

Сократ. Какой же есть способ писать хорошо или, напротив, нехорошо? Надо ли нам, Федр, расспросить об этом Лисия или кого другого, кто когда-либо писал или будет писать, – все равно, сочинит ли он что-нибудь об общественных делах или частных, в стихах ли, как поэт, или без размера, как любой из нас?

Федр. Ты спрашиваешь, надо ли? Да для чего же, по правде говоря, и жить, как не для удовольствий такого рода? Ведь не для тех же удовольствий, которым должно предшествовать страдание, – иначе их и не ощутишь, как это бывает чуть ли не со всеми телесными удовольствиями (потому-то их по справедливости и называют рабскими).

Сократ. Досуг у нас, правда, есть. К тому же цикады над нашей головой поют, разговаривают между собой, как это обычно в самый зной, да, по-моему, они и смотрят на нас. Если они увидят, что и мы, подобно большинству, не ведем беседы в полдень, а по лености мысли дремлем, убаюканные ими, то справедливо осмеют нас, думая, что это какие-то рабы пришли к ним в убежище и, словно овцы в полдень, спят у родника. Если же они увидят, что мы, беседуя, не поддаемся их очарованию и плывем мимо них, словно мимо сирен, [49 – Сирены привлекали путников сладостным пением и губили их. У Гомера (Од. XII 39–54, 166–200) мимо них проплыл Одиссей, привязав себя к мачте и заткнув воском уши своих товарищей. Гомер знает двух сирен; в более позднее время считали, что их три. Когда мимо них проплыли аргонавты, заглушая их пение музыкой Орфея (Аполлоний Родосский IV 893–921), сирены бросились в море и превратились в скалы (Orphei Argonautica 1284–1290 Abel).] они, в восхищении, пожалуй, уделят нам тот почетный дар, который получили от богов для раздачи людям.

Федр. Что же такое они получили? Я, по-видимому, и не слышал об этом.

Сократ. Не годится человеку, любящему Муз, [50 – Музы – дочери Зевса и Мнемосины; по Гесиоду – пиэрийские, геликонские, олимпийские. Их девять сестер: Клио, Евтерпа, Талия, Мельпомена, Эрато, Терпсихора, Полигимния, Урания, Каллиопа. Они богини искусства и вдохновительницы поэтов: им также ведомы правда и ложь, «что было, что есть и что будет». Они не просто поют, но славят «священное племя бессмертных», «добрые нравы богов» и «законы», следуя за «царями, достойными чести», и облегчая жизнь тем, кто «сохнет, печалью терзаясь» (см.: Гесиод. Труды и дни 1 сл., а также Теогония – 1–104, подробная характеристика Муз). Среди гомеровских гимнов есть один (XXV), обращенный к Музам и Аполлону. В орфической литературе тоже есть гимн «Музам» (LXXVI). Из поздних гимнов к Музам отметим гимн «Музе» Месомеда с о. Крит (I–II в. н.э.), к которому (наряду с гимнами Солнцу и Немесиде) сохранились древние нотные знаки, на основании которых существует ряд музыкальных реставраций (Musici scriptores graeci / Rec. C. Janus. Lipsiae, 1895. P. 454–473). Знаменитый неоплатоник Прокл (V в. н.э.) тоже оставил «Гимн к Музам».) (III). Музы у него – это «свет, возносящий ввысь человеческий род». Они через «вдохновенные книги» спасают «души людей, поглощенные бездной жизни», они «опьяняют» философа «умными мифами мудрых», увлекая «душу странника к чистому свету», душу, «насыщенную медом их собственных ульев». См.: Античные гимны. См. также прим. 18.] даже и не слышать об этом! По преданию, цикады [51 – миф о цикадах, созданный Платоном, – изящная метаморфоза, «превращение» с этиологической, как это постоянно бывает, основой. Интересно, что этиология здесь не ограничивается узкой задачей самой метаморфозы – показать, откуда взялись цикады. Мифологема органически связана с композицией диалога. Слова Сократа: «Значит, по многим причинам нам с тобой надо беседовать, а не спать в полдень» – раскрывают суть этого мифа, подчеркивая деятельное начало в человеке, лишенном рабской или животной лености ума, и наталкивают собеседников на дальнейшее развитие темы. Превращение людей в иные существа – основная тема «Метаморфоз» Овидия. Однако для него превращение человека в животное, растение, камень или ручей – следствие наказания его богами или внутренняя моральная невозможность сохранить человеческий облик. Миф, где бы сила искусства заставила людей умирать в самозабвении и затем превращаться в цикаду, – плод неумной фантазии Платона. Кузнечики всегда считались прекрасными певцами. Еще у Гесиода (Труды и дни 582–584): ...на дереве сидя, быстро, размеренно льет из-под крыльев трескучих цикада звонкую песнь свою среди томящего летнего зноя. Пер. В. В. Вересаева. Плутарх называл кузнечиков «священными и музыкальными» (Quaest. conv. VIII 7, 3). Феофилакт Схоластик в одном из своих писем (Ep. 1) именуется кузнечика «музыкантом», «охотно распеваящим песни и по своей природе очень болтливым», особенно в полуденный час, когда он «как бы опьяняется солнечными лучами», и «стрекошет певец, превратив дерево в жертвенник, поле – в театр и предлагая путникам свое музыкальное искусство» (Epistolographi graeci / Rec. R. Hercher. Paris, 1873). Рассказ этот следует платоновской традиции. Схолиаст к Аристофану (Облака 984) тоже говорит о «музыкальных кузнечиках», которые близки Аполлону. Так же как люди, которые ничего не ели, распевая, и кузнечики, облик которых эти люди приняли, по поверьям древних, ничего не едят. Артемидор в своем знаменитом «Соннике» (III 49) пишет, что «кузнечики обозначают музыкальных людей на основании рассказа о них; пищи никакой для них не надо» (Artemidori Dalidiani Onirocriticon, Libri V / Ed. R. Pack. Lipsiae, 1963). Аристотель (История животных IV 7, 532b 14) тоже полагает, что кузнечики питаются только росой. В известном анакреонтическом

стихотворении (fr. 32 Bergk) кузнечик «пьет немного росы» и поет «как царь», «сладостный пророк жары», которого «любят Музы». Кузнечик здесь «мудрый», «рожденный землей, любитель песен, не испытывающий страданий, бескровный, почти что подобный богам». В небольшом рассказе Элиана (De nat. an I 20 Hercher) «О цикадах» говорится о «болтливости» цикад, о том, что они «питаются росой» и распевают в самую жару, «как трудолюбивые хоревты». Страбон (VI 1 9) приводит историю о том, как однажды на состязаниях кифаредов на пифийских играх, когда у победителя «одна струна лопнула, цикада вскочила на кифару и восполнила недостающий звук струны». Победитель посвятил Аполлону в родном городе Локры свою статую с цикадой, сидящей на кифаре. Многие видели в кузнечиках нечто пророческое. Так, Теофраст считал, что «кузнечики, расплодившиеся в большом количестве, свидетельствуют о годе болезней» (Theophrasti opera / Ex rec. F. Wimmer, I. Lipsiae, 1862, fr. VI 4. P. 129).] некогда были людьми, еще до рождения Муз. А когда родились Музы и появилось пение, некоторые из тогдашних людей пришли в такой восторг от этого удовольствия, что среди песен они забывали о пище и питье и в самозабвении умирали. От них после и пошла порода цикад: те получили такой дар от Муз, что, родившись, не нуждаются в пище, но сразу же, без пищи и питья, начинают петь, пока не умрут, а затем идут к Музам известить их, кто из земных людей какую из них почитает. Известив Терпсихору о тех, кто почтил ее в хороводах, они снискивают к ним у нее расположение; у Эрато – к тем, кто почтил ее в любовных песнях, и то же с остальными Музами, соответственно виду почитания каждой из них. Самую старшую из Муз – Каллиопу – и следующую за ней – Уранию – они извещают о людях, посвятивших свою жизнь философии и почитающих то, чем ведают эти Музы. Ведь среди Муз эти две больше всех причастны небу и учениям, божественным и человеческим, потому их голос всего прекраснее. Значит, по многим причинам нам с тобой надо беседовать, а не спать в полдень.

Федр. Конечно, будем беседовать.

Сократ. Стало быть, нам предстоит рассмотреть, как мы только что и собирались сделать, от чего это зависит – говорить и писать хорошо или нехорошо.

Федр. Очевидно.

Сократ. Чтобы речь вышла хорошей, прекрасной, разве разум оратора не должен постичь истину того, о чем он собирается говорить?

Федр. Об этом, милый Сократ, я так слышал: тому, кто намеревается стать оратором, нет необходимости понимать, что́ действительно справедливо, – достаточно знать то, что́ кажется справедливым большинству, которое будет судить. То же самое касается и того, что в самом деле хорошо и прекрасно, – достаточно знать, что́ таковым представляется. Именно так можно убедить, а не с помощью истины.

Сократ. «Мысль не презренная», [52 – Ср. пер. В. В. Вересаева: «Слово, какое скажу я, не будет достойно презренья» – обращение Нестора к Агамемнону с советом испытать доблесть воинов, распределив их по племенам и фратриям (Ил. II 361–363).] Федр, раз так говорят умные люди, но надо рассмотреть, есть ли в ней смысл. Поэтому нельзя оставить без внимания то, что ты сейчас сказал.

Федр. Ты прав.

Сократ. Рассмотрим это следующим образом.

Федр. Каким?

Сократ. Например, я убеждал бы тебя приобрести коня, чтобы сражаться с неприятелем, причем мы с тобой оба не знали бы, что такое конь, да и о тебе я знал бы лишь то, что Федр считает конем ручное животное с большими ушами...

Федр. Это было бы смешно, Сократ.

Сократ. Пока еще нет, но так было бы, если бы я стал всерьез тебя убеждать, сочинив похвальное слово ослу, называя его конем, что непременно стоит завести эту скотинку не только дома, но и в походе, так как она пригодится в битве, для перевоза клади и еще многого другого.

Федр. Вот это было бы совсем смешно!

Сократ. А разве не лучше то, что смешно да мило, чем то, что страшно и враждебно?

Федр. Это очевидно.

Сократ. Так вот, когда оратор, не знающий, что такое добро, а что – зло, выступит перед такими же несведущими гражданами с целью их убедить, причем будет расхваливать не тень осла, [53 – Т.е. пустяки.] выдавая его за коня, но зло, выдавая его за добро, и, учтя мнения толпы, убедит ее сделать что-нибудь плохое вместо хорошего, какие, по-твоему, плоды принесет впоследствии посев его красноречия?

Федр. Не очень-то подходящие.

Сократ. Впрочем, друг мой, не слишком ли резко мы нападаем на ораторское искусство? Оно, пожалуй, возразило бы нам: «Что за вздор вы несете, странные вы люди! Никого, кто не знает истины, я не принуждаю учиться говорить, напротив, – если мой совет что-нибудь значит, – пусть лишь обладающий истиной приступает затем ко мне. Я притязая вот на что: даже знающий истину не найдет помимо меня средства искусно убеждать».

Федр. Разве не было бы оно право, говоря так?

Сократ. Согласен, если подходящие к случаю доказательства подтвердят, что оно – искусство. Мне сдается, будто я слышу, как некоторые из них подходят сюда и свидетельствуют, что красноречие не искусство, а далекий от него навык. Подлинного искусства речи, сказал лаконец, нельзя достичь без познания истины, да и никогда это не станет возможным. [54 – Плутарх (Aporhategmata Iasonica 233b // Moralia. Vol. II) в собрании различных остроумных ответов спартанцев (19) пишет: «Когда некий оратор похвалялся искусством красноречия, один лаконец сказал: „Клянусь богами, никогда нет и не будет искусства без истины“».]

Федр. Эти доказательства [55 – Сократ ведет воображаемый разговор с доказательствами, персонифицируя их. Ср.: Критон 50a и прим. 12.] необходимы, Сократ. Приведи их сюда и допроси: что и как они утверждают?

Сократ. Придите же сюда, благородные создания, и убедите Федра, отца прекрасных детей, что, если он окажется недостаточно искусен в философии, он никогда не будет способен о чем-либо говорить. Пусть Федр отвечает вам.

Федр. Спрашивайте.

Сократ. Искусство красноречия [56 – Искусству красноречия посвящен диалог «Горгий».] не есть ли вообще умение увлекать души словами, не только в судах и других общественных собраниях, но и в частном быту? Идет ли речь о мелочах или о крупных делах, – оно все то же, и, к чему бы его ни применять правильно – к важным ли делам или к незначительным, – оно от этого не становится ни более, ни менее ценным. Или ты об этом слышал не так?

Федр. Клянусь Зевсом, не совсем так. Говорят и пишут искусно прежде всего для тяжб, говорят искусно и в народном собрании. А о большем я не слышал.

Сократ. Значит, ты слышал только о наставлениях в красноречии, которые написали в Илионе Нестор и Одиссей, чтобы занять свой досуг, а о наставлениях Паламеда [57 – Упоминаются герои поэм Гомера, Нестор и Одиссей – искусные ораторы. Паламед – сын Навплия, известный умом и проницательностью, изобретатель мер и весов, игры в кости и шашки. См. также: Апология Сократа, прим. 56; Гиппий меньший, прим. 4.] ты не слышал?

Федр. Да я, клянусь Зевсом, и о наставлениях Нестора не слышал, если только ты не сделаешь из Горгия какого-то Нестора, а Одиссея – из какого-нибудь Фрасимаха и Феодора. [58 – О Горгии см.: Апология Сократа, прим. 9. Фрасимах из Халкедона преподавал в Афинах риторiku. Платон порицал его как софиста. Фрагменты Фрасимаха см. в изд. Дильса (Vd. II, cap. 85); русск. пер.: Маковельский А. Софисты, вып. 2. Баку, 1941. Феодор из Византия – софист и ритор, считался учителем Лисия (не имеет отношения к Феодору Киренаику, участнику «Тезтета».)]

Сократ. Может быть. Но оставим их. Скажи мне, что делают на суде тяжущиеся стороны? Не спорят ли они, или назвать это как-то иначе?

Федр. Нет, именно так.

Сократ. Спорят о том, что справедливо и что несправедливо?

Федр. Да.

Сократ. И тот, кто делает это искусно, сумеет представить одно и то же дело одним и тем же слушателям то справедливым, то, если захочет, несправедливым?

Федр. И что же?

Сократ. Да и в народном собрании одно и то же покажется гражданам иногда хорошим, а иногда наоборот.

Федр. Это так.

Сократ. Разве мы не знаем, как искусно говорит элейский Паламед: [59 – Имеется в виду Зенон (см.: Алкивиад I, прим. 28). О Паламеде см. прим. 57.] его слушателям одно и то же представляется подобным и неподобным, единым и множественным, покоящимся и несущимся.

Федр. Да, конечно.

Сократ. Следовательно, искусство спора применяется не только на суде и в народном собрании, но, по-видимому, это какое-то единое искусство, – если уж оно искусство, – одинаково применимое ко всему, о чем бы ни шла речь; при его помощи любой сумеет уподобить все, что только можно, всему, что только можно, и вывести на чистую воду другого с его туманными уподоблениями.

Федр. Как, как ты говоришь?

Сократ. Тем, кто доискивается, можно, по-моему, разъяснить это так: обмануться легче при большой или при малой разнице между вещами?

Федр. При малой.

Сократ. Переход к противоположности разве не будет менее заметен, если его совершать постепенно, чем если резко?

Федр. Как же иначе?

Сократ. Значит, кто собирается обмануть другого, не обманываясь сам, тот должен досконально знать подобие и неподобие всего существующего.

Федр. Это необходимо.

Сократ. А может ли тот, кто ни об одной вещи не знает истины, различить сходство непознанной вещи с другими вещами, будь оно малым или большим?

Федр. Это невозможно.

Сократ. Значит, ясно: у тех, кто имеет неверные мнения о существующем и поддается обману, причина их беды – какое-то подобие между вещами.

Федр. Да, так бывает.

Сократ. Может ли быть, чтобы тот, кто всякий раз уводит от бытия к его противоположности, сумел искусно делать постепенные переходы на основании подобия между вещами? И сам он избежит ли ошибки, раз он не знает, что такое та или иная вещь из существующих?

Федр. Этого никак не может быть.

Сократ. Значит, друг мой, кто не знает истины, а гоняется за мнениями, у того искусство речи будет, видимо, смешным и неискусным.

Федр. Пожалуй, так.

Сократ. Хочешь посмотреть, что в речи Лисия, которую ты сюда принес, и в тех речах, которые мы с тобой здесь произнесли, было, по нашему слову, неискусным и что искусным?

Федр. С превеликой охотой; а то мы сейчас говорим как-то голословно, без достаточных примеров.

Сократ. Видимо, это просто случайность, что обе речи являют пример того, как человек хотя и знает истину, но может, забавляясь в речах, завлечь своих слушателей. Я, Федр, виню в этом здешних богов. А может быть, и эти провозвестники Муз, певцы над нашей головой, вдохнули в нас этот дар – ведь я-то, по крайней мере, вовсе не причастен к искусству речи.

Федр. Пусть это так, как ты говоришь, но только поясни свою мысль.

Сократ. Ну-ка, прочти мне начало речи Лисия.

Федр. «О моих намерениях ты знаешь, слышал уже и о том, что я считаю для нас с тобой полезным, если они осуществляются. Думаю, не будет препятствием для моей просьбы то обстоятельство, что я в тебя не влюблен: влюбленные раскаиваются потом...»

Сократ. погоди. Ведь мы хотели указать, в чем Лисий допускает погрешность и что он делает неискусно, – не так ли?

Федр. Да.

Сократ. Не ясно ли всякому, что кое с чем из этого мы согласны, а кое-что нас возмущает?

Федр. Кажется, я улавливаю твою мысль, но говори яснее.

Сократ. Когда кто-нибудь назовет железо или серебро, разве мы не мыслим все одно и то же?

Федр. Конечно, одно и то же.

Сократ. А если кто назовет справедливость и благо? Разве не толкует их всякий по-своему, и разве мы тут не расходимся друг с другом и сами с собой?

Федр. И даже очень.

Сократ. Значит, кое в чем мы согласны, а кое в чем и нет.

Федр. Да, так.

Сократ. В чем же нас легче обмануть и где красноречие имеет большую силу?

Федр. Видно, там, где мы блуждаем без дороги.

Сократ. Значит, тот, кто намерен заняться ораторским искусством, должен прежде всего произвести правильное разделение и уловить, в чем признак каждой его разновидности – и той, где большинство неизбежно блуждает, и той, где этого нет.

Федр. Прекрасную его разновидность, Сократ, постиг бы тот, кто уловил бы это!

Сократ. Затем, думаю я, в каждом отдельном случае он не должен упускать из виду, но, напротив, как можно острее чувствовать, к какому роду относится то, о чем он собирается говорить.

Федр. Конечно.

Сократ. Так что же? Отнесем ли мы любовь к тем предметам, относительно которых есть разногласия, или нет?

Федр. Да еще какие разногласия! Иначе как бы, по-твоему, тебе удалось высказать о ней все то, что ты только что наговорил: она – пагуба и для влюбленного и для того, кого он любит, а с другой стороны, она – величайшее благо.

Сократ. Ты совершенно прав. Но скажи еще вот что: я из-за своего восторженного состояния не совсем помню, дал ли я определение любви в начале моей речи?

Федр. Клянусь Зевсом, да, и притом поразительно удачное.

Сократ. То-то же! Насколько же, по этим твоим словам, нимфы, дочери Ахелоя, и Пан, [60 – См.: прим. 12, а также Кратил 408 b-d и прим. 70.] сын Гермеса, искуснее в речах, чем Лисий, сын Кефала! Или я ошибаюсь, или Лисий в начале своей любовной речи заставил нас принять Эрота за одно из проявлений бытия – правда, такое, как ему самому было угодно, – и на этом построил всю свою речь до конца. Хочешь, мы еще раз прочтем ее начало?

Федр. Если тебе угодно. Однако там нет того, что ты ищешь.

Сократ. Прочти, чтобы мне услышать его самого.

Федр. «О моих намерениях ты знаешь, слышал уже и о том, что я считаю для нас с тобой полезным, если они осуществляются. Думаю, не будет препятствием для моей просьбы то обстоятельство, что я в тебя не влюблен: влюбленные раскаиваются потом в своем хорошем отношении, когда проходит их страсть».

Сократ. У него, видно, совсем нет того, что мы ищем. Он стремится к тому, чтобы его рассуждение плыло не с начала, а с конца, на спине назад. Он начинает с того, чем кончил бы влюбленный свое объяснение с любимцем. Или я не прав, милый ты мой Федр?

Федр. Действительно, Сократ, то, о чем он здесь говорит, это – заключение речи.

Сократ. А остальное? Не кажется ли, что все в этой речи набросано как попало? Разве очевидно, что именно сказанное во-вторых, а не другие высказывания должно непременно занимать второе место? Мне, как невежде, показалось, что этот писатель отважно высказывал все, что ему приходило в голову. Усматриваешь ли ты какую-нибудь необходимость для сочинителей располагать все в такой последовательности, как у Лисия?

Федр. Ты слишком любезен, если думаешь, что я способен так тщательно разобрать все особенности его сочинения.

Сократ. Но по крайней мере вот что ты мог бы сказать: всякая речь должна быть составлена, словно живое существо, – у нее должно быть тело с головой и ногами, причем туловище и конечности должны подходить друг другу и соответствовать целому.

Федр. Как же иначе?

Сократ. Вот и рассмотри, так ли обстоит с речью твоего приятеля или иначе. Ты найдешь, что она ничем не отличается от надписи, которая, как рассказывают, была на гробнице фригийца Мидаса. [61 – Мидас – фригийский царь, известный своей страстью к золоту, из-за которой он чуть не погиб (Овидий. Метаморфозы XI 90–145). Известен еще и тем, что предпочел свирель Пана кифаре Аполлона, получив в наказание от бога ослиные уши (там же 146–193). Ниже в тексте приводится надпись, принадлежащая либо Клеобулу из Линды, либо Гомеру (VII 153 Veskby).]

Федр. А какая это надпись и что в ней особенного?

Сократ. Она вот какова:

Медная девушка я, на гробнице Мидаса покоюсь.
Воды доколе текут и пышно древа расцветают,
Я безотлучно пребуду на сей многослезной могиле,
Мимо идущим вещам; я, что здесь Мидас похоронен.

Ты, я думаю, заметил, что тут все равно, какой стих читать первым, какой

последним.

Федр. Ты высмеиваешь нашу речь, Сократ?

Сократ. Так оставим ее, чтобы тебя не сердить, хотя, по-моему, в ней есть много примеров, на которые было бы полезно обратить внимание, но пытаться подражать им не очень-то стоит. Перейдем к другим речам. В них было, мне кажется, нечто такое, к чему следует присмотреться тем, кто хочет исследовать красноречие.

Федр. Что ты имеешь в виду?

Сократ. Эти две речи были противоположны друг другу. В одной утверждалось, что следует угождать влюбленному, в другой – что невлюбленному.

Федр. И очень решительно утверждалось.

Сократ. Я думал, ты скажешь «неистово» – это было бы правдой, как раз этого я и добивался: ведь мы утверждали, что любовь есть некое неистовство. Не так ли?

Федр. Да.

Сократ. А неистовство бывает двух видов: одно – следствие человеческих заболеваний, другое же – божественного отклонения от того, что обычно принято.

Федр. Конечно, так.

Сократ. Божественное неистовство, исходящее от четырех богов, мы разделили на четыре части: вдохновенное прорицание мы возвели к Аполлону, посвящение в таинства – к Дионису, творческое неистовство – к Музам, четвертую же часть к Афродите и Эроту – и утверждали, что любовное неистовство всех лучше. Не знаю, как мы изобразили любовное состояние: быть может, мы коснулись чего-то истинного, а возможно, и уклонились в сторону, но, добавив не столь уж неубедительное рассуждение, мы с должным благоговением прославили в сказочном гимне моего и твоего, Федр, владыку Эрота, покровителя прекрасных юношей.

Федр. Слушать мне было наслаждение!

Сократ. Одно постараемся из этого понять – как могло наше рассуждение от порицания перейти к похвале.

Федр. Как же это, по-твоему?

Сократ. Мне кажется, все было там в сущности только шуткой, кроме одного: все, что мы там случайно наговорили, – двух видов, и суметь искусно применить их возможности было бы для всякого благодарной задачей.

Федр. Какие это виды?

Сократ. Первый – это способность, охватывая все общим взглядом, возводить к единой идее то, что повсюду разрозненно, чтобы, давая определение каждому, сделать ясным предмет поучения. Так поступили мы только что, говоря об Эроте: сперва определили, что он такое, а затем, худо ли, хорошо ли, стали рассуждать; поэтому-то наше рассуждение вышло ясным и не противоречило само себе.

Федр. А что ты называешь другим видом, Сократ?

Сократ. Второй вид – это, наоборот, способность разделять всё на виды, на естественные составные части, стараясь при этом не раздробить ни одной из них, как это бывает у дурных поваров: так, в обеих наших недавних речах мы отнесли неразумную часть души к какому-то одному общему виду. Подобно тому как в едином от природы человеческом теле имеется две одноименные части, лишь с обозначением «левая» или «правая», так обстоит дело и с состоянием безумия, которое обе наши речи признали составляющим в нас от природы единый вид, но одна речь выделила из него часть, обращенную налево, и не остановилась на этом делении, пока не нашла там некую так называемую левую любовь, которую вполне справедливо и осудила; другая же наша речь ведет нас

к правой части неистовства, одноименной с первой, и находит там некую божественную любовь, которой отдает предпочтение, и восхваляет ее как причину величайших для нас благ.

Федр. Ты говоришь в высшей степени верно.

Сократ. Я, Федр, и сам поклонник такого различения и обобщения – это помогает мне рассуждать и мыслить. И если я замечаю в другом природную способность охватывать взглядом единое и множественное, я гоняюсь

Следом за ним по пятам, как за богом. [62 – Одиссей идет за нимфой Калипсо: «Быстро шагая, за нею же следом и он устремился» (Од. V 193).]

Правильно ли или нет я обращаюсь к тем, кто это может делать, знает бог, а называю я их и посейчас диалектиками. [63 – Определение диалектика как человека, умеющего ставить вопросы и давать ответы, см. в Кратиле 390c. о противопоставлении диалектики и эристики, т.е. спора, см.: Менон, прим. 9. См. также: Апология Сократа, прим. 24.] Но скажи, как назвать тех, кто учился у тебя и у Лисия? Или это как раз и есть то искусство речи, пользуясь которым фрасимах и прочие и сами стали премудрыми в речах, и делают такими всех, кто только пожелает приносить им дары, словно царям?

Федр. Люди они, правда, царственные, однако в том, о чем ты спрашиваешь, несведущие. Но мне кажется, ты правильно назвал этот вид диалектическим; а вот тот, что касается красноречия, по-моему, все еще от нас ускользает.

Сократ. Как ты говоришь? Может существовать нечто прекрасное и помимо диалектики, которое тоже относится к искусству? Во всяком случае ни мне, ни тебе нельзя этим пренебрегать и надо поговорить о том, что это такое – я имею в виду красноречие.

Федр. Об этом очень много говорится, Сократ, в книгах, написанных об искусстве речи.

Сократ. Хорошо, что ты напомнил. По-моему, на первом месте, в начале речи, должно быть вступление. Ведь это ты считаешь, не правда ли, тонкостями искусства?

Федр. Да.

Сократ. На втором месте – изложение и свидетельства, на третьем месте – доказательства, на четвертом – правдоподобные выводы. А настоящий Дедал речей, тот, что родом из Византия, [64 – О Дедале см.: Ион, прим. 10.] называет еще подтверждение и добавочное подтверждение.

Федр. Ты говоришь о славном Феодоре?

Сократ. Конечно. И еще, утверждает он, надо применять опровержение и добавочное опровержение как при обвинении, так и при защите. А прекраснейшему Евену с Пароса [65 – Ср.: Апология Сократа, прим. 10.] разве мы не отведем видного места? Он первый изобрел побочное объяснение и косвенную похвалу. Говорят, он, чтобы легче было запомнить, изложил свои косвенные порицания в стихах – такой искусник!

Тисий [66 – Тисий из Сиракуз (V в.) – ритор, ученик Коракса, учитель софиста Горгия. Тисий и Коракс определяли риторику как «демиурга убеждения» (IV, p. 19 walz). Они строили свои доказательства на основе «вероятности», установили технику разделения речи на части (см.: Федр 266de), заложили основы античной риторики (VI, p. 13 walz). Как пишет Максим Плануд, «риторика появилась и возросла в Сицилии» (V, p. 215 etc. walz). В творчестве Коракса, Тисия и Горгия сказывается преемственность ораторских традиций, характерная для сицилийской школы.] же и Горгий пусть спокойно спят: им привиделось, будто вместо истины надо больше почитать правдоподобие; силою своего слова они заставляют малое казаться большим, а большое – малым, новое представляют древним, а древнее – новым, по любому поводу у них наготове то сжатые, то беспредельно пространные речи. Услышав как-то об этом от меня, Продик рассмеялся и сказал, что лишь он один отыскал, в чем состоит искусство речей: они не должны быть ни длинными, ни краткими, но в меру.

Федр. Ты всех умнее, Продик! [67 – См.: Апология Сократа, прим. 9.]

Сократ. А о Гиппии [68 – См. там же.] не будем говорить? Я думаю, что одного с ним взгляда был бы и наш гость из Элей.

Федр. Наверно.

Сократ. А что нам сказать о словотворчестве Пола – о его удвоениях, изречениях и образных выражениях, обо всех этих словесах Ликимния, [69 – О Поле см.: Феаг, прим. 23. Ликимний – учитель Пола, который, как пишет схолиаст к «Федру» (267с), «разделил имена на имена в собственном смысле слова, сложные, схожие, приложения и на некоторые другие», чему он и обучил Пола.] подаренных Полу для благозвучия?

Федр. А у Протагора, [70 – См.: Евтидем, прим. 32.] Сократ, разве не было чего-нибудь в этом же роде?

Сократ. Какое-то учение о правильности речи, дитя мое, и много еще хороших вещей. Но в жалобно-стонущих речах о старости и нужде всех одолели, по-моему, искусство и мощь халкедонца. [71 – Т.е. Фрасимаха. Ср.: Евтидем, прим. 16.] Он умеет и вызвать гнев толпы, и снова своими чарами укротить разгневанных – так он уверяет. Потому-то он так силен, когда требуется оклеветать или опровергнуть клевету.

Что же касается заключительной части речей, то у всех, видимо, одно мнение, только одни называют ее сжатым повторением, а другие иначе.

Федр. Ты говоришь, что под конец нужно в главных чертах напомнить слушателям обо всем сказанном?

Сократ. Да, по-моему, так; но не можешь ли ты добавить еще что-нибудь об искусстве красноречия?

Федр. Мелочи, о них не стоит говорить.

Сократ. Оставим в стороне мелочи. Лучше вот что рассмотрим при ярком свете дня: как и когда красноречие воздействует своим искусством?

Федр. Оно действует очень сильно, Сократ, особенно в многолюдных собраниях.

Сократ. Да, это так. Но, друг мой, взгляни и скажи, не кажется ли тебе, как и мне, что вся основа этой их ткани разлезлась?

Федр. Объясни, как это.

Сократ. Скажи-ка мне, если кто обратится к твоему приятелю Эриксимаху или к его отцу Акумену [72 – См.: Пир, прим. 16.] и скажет: «Я умею как-то так воздействовать на человеческое тело, что оно по моему усмотрению может стать горячим или холодным, а если мне вздумается, я могу вызвать рвоту или понос и многое другое в том же роде. Раз я это умею, я притязаю на то, чтобы быть врачом, и могу сделать врачом и другого, кому я передам это свое умение». Что бы, по-твоему, сказали Эриксимах или Акумен ему в ответ?

Федр. Ничего, они бы только спросили, знает ли он вдобавок, к кому, когда и в какой мере следует применять каждое из его средств?

Сократ. А если бы он сказал: «Ничуть, но я считаю, что мой выученик сам сможет сделать то, о чем ты спрашиваешь».

Федр. Они сказали бы, я думаю, что этот человек не в своем уме: он вычитал кое-что из книг или случайно ему попались в руки лекарства, и вот он возомнил себя врачом, ничего в этом деле не смысля.

Сократ. А если бы кто-нибудь в свою очередь обратился к Софоклу и Еврипиду [73 – См.: Феаг, прим. 13 и 17.] и заявил, что умеет о пустяках сочинять длиннейшие речи, а о чем-нибудь великом, наоборот, весьма сжатые и по своему желанию делать их то жалостными, то, наоборот, устрашающими, грозными и так далее, а также что он уверен, будто, обучая всему этому, передаст другим умение создавать трагедии?

Федр. И Софокл и Еврипид, думаю я, Сократ, осмеяли бы того, кто считает,

будто трагедия не есть сочетание подобных речей, но связных и составляющих единое целое.

Сократ. Но я думаю, они не стали бы его грубо бранить. Так, знаток музыки при встрече с человеком, считающим себя знатоком гармонии только потому, что он умеет настраивать струну то выше, то ниже, не скажет грубо: «Бедняга, ты, видно, рехнулся», – но, напротив, скажет очень мягко, как подобает человеку, причастному музыке: «Уважаемый, конечно, и это необходимо уметь тому, кто собирается заняться гармонией, но это не исключает того, что человек в твоём положении нимало не смыслит в гармонии: у тебя есть необходимые предварительные сведения по гармонии, но самой гармонии ты не знаешь».

Федр. Совершенно верно.

Сократ. Значит, и Софокл сказал бы тому, кто захотел бы блеснуть перед ними, что это всего лишь подступы к трагедии, а не трагическое искусство; и Акумен сказал бы, что здесь лишь подступы к врачеванию, а не само искусство.

Федр. Разумеется.

Сократ. А что, по нашему мнению, сделал бы сладкоречивый Адраст или хотя бы Перикл, [74 – Подразумевается софист Антифонт. Адраст, мифический фиванский полководец, известный своей мудростью, убедил Тесея похоронить тела павших вождей, ходивших с сыном Эдипа Полиником на Фивы. Для этого Тесею вступил в сражение с фиванцами, победил их и похоронил павших вождей в элевсинской земле. Тиртей (fr. 9, v. 8 Diehl) называет Адраста «медоустым». О Перикле см.: Феаг, прим. 19.] если бы они услышали о только что упомянутых нами замечательных ухищрениях – о краткости, об образном способе выражения и так далее, что, как мы сказали, надо рассматривать при ярком свете дня? Не были бы они раздосадованы, как мы с тобой, и не вырвалось бы у них, по неотесанности, неучливое слово в отношении тех, кто все это пишет и учит этому под видом искусства красноречия. Или, может быть, – они ведь умнее нас – только бы нас упрекнули, сказавши: «Нечего сердиться, Федр и Сократ, надо отнестись снисходительно, если люди, не умеющие рассуждать, не способны определить, что такое искусство красноречия. Из-за этого они, обладая лишь необходимыми предварительными сведениями, считают, будто изобрели ораторское искусство и, когда преподают его другим, уверены, что передают им совершенное искусство красноречия. А говорить о каждом предмете убедительно и сочетать все в одно целое, это, по их мнению, нетрудно, и ученики сами собой должны достичь этого в своих речах».

Федр. Ведь действительно, Сократ, именно таково искусство, которому под видом красноречия обучают эти люди и о котором они пишут. Мне кажется, ты верно сказал. Но как и откуда можно научиться искусству подлинного и убедительного красноречия?

Сократ. С этой возможностью, Федр, как и с возможностью стать совершенным борцом, дело обстоит, вероятно, – а может быть, и необходимо, – так же, как и со всем остальным: если у тебя есть природные задатки оратора, ты станешь выдающимся оратором, приложив к этому знания и упражнения. В чем из этого у тебя окажется недостаток, то и будет твоим слабым местом. Сколько здесь от искусства – ясно, по-моему, из нашего рассмотрения, но это не обнаружится на том пути, которым следуют Лисий и Фрасимах.

Федр. А на каком же?

Сократ. Видимо, друг мой, не случайно Перикл всех превзошел в красноречии.

Федр. Почему же?

Сократ. Сколько ни есть великих искусств, все они, кроме того, нуждаются в тщательном исследовании природы вещей возвышенных. Отсюда, видимо, как-то и происходит образ мысли и совершенства во всем. Этим и обладает Перикл кроме своей природной одаренности. Сблизившись с Анаксагором, [75 – См.: Апология Сократа, прим. 27.] человеком, по-моему, как раз такого склада, Перикл преисполнился познания возвышенного и постиг природу ума и мышления, о чем Анаксагор часто вел речь; отсюда Перикл извлек пользу и для искусства красноречия.

Федр. Как ты это понимаешь?

Сократ. Пожалуй, в искусстве врачевания те же самые приемы, что и в искусстве красноречия.

Федр. Как так?

Сократ. И тут и там нужно разбираться в природе, в одном случае – тела, в другом – души, если ты намерен пользоваться не навыком и опытом, а искусством, применяя в первом случае лекарства и питание для восстановления здоровья и сил, а во втором – беседы и надлежащие занятия, чтобы привить желательное умение убеждать и добродетель.

Федр. Наверно, это так, Сократ.

Сократ. Думаешь ли ты, что можно достойным образом постичь природу души, не постигнув природы целого?

Федр. Если должно в чем-то верить Асклеиаду Гиппократу, [76 – См.: Протагор, прим. 11.] то даже природу тела нельзя постигнуть иным путем.

Сократ. Это он прекрасно говорит, друг мой. Однако кроме Гиппократа надо еще обратиться к разуму и посмотреть, согласен ли он с Гиппократом.

Федр. Я полагаю.

Сократ. Итак, посмотри, что говорит о природе Гиппократ, а что – истинный разум. Разве не так следует мыслить о природе любой вещи: прежде всего, простая ли это вещь – то, в чем мы и сами хотели бы стать искусными и других умели бы делать такими, или она многовидна; затем, если это простая вещь, надо рассмотреть ее способности: на что и как она по своей природе может воздействовать или, наоборот, что и как может воздействовать на нее? Если же есть много ее видов, то надо их сосчитать и посмотреть свойства каждого (так же как в том случае, когда она едина): на что и как каждый вид может по своей природе воздействовать и что и как может воздействовать на него.

Федр. Пожалуй, это так, Сократ.

Сократ. Иначе рассмотрение походило бы на блуждание слепого. А тому, кто причастен искусству, никак нельзя уподобляться слепому или глухому. Ясно, что, кто по правилам искусства наставляет другого в сочинении речей, тот в точности покажет сущность природы того, к чему обращена речь, – а это будет душа.

Федр. Конечно. И что же?

Сократ. И все его усилия направлены на это – ведь именно душу старается он убедить. Не так ли?

Федр. Да.

Сократ. Значит, ясно, что Фрасимах или кто другой, если он всерьез преподает ораторское искусство, прежде всего со всей тщательностью будет писать о душе и наглядно покажет, едина и единообразна ли она по своей природе или же у нее много видов, соответственно сложению тела. Это мы и называем показать природу [какой-либо вещи].

Федр. Совершенно верно.

Сократ. Во-вторых, он укажет, на что и как душа по своей природе воздействует и что и как воздействует на нее.

Федр. И дальше?

Сократ. В-третьих, стройно расположив виды речей и души и их состояния, он разберет все причины, установит соответствие каждого [вида речи] каждому [виду души] и научит, какую душу какими речами и по какой причине непременно удастся убедить, а какую – нет.

Федр. Это было бы, верно, очень хорошо.

Сократ. Право же, друг мой, если объяснять или излагать иначе, то ни этого и вообще никогда ничего не удастся изложить ни устно, ни письменно в соответствии с правилами искусства. А те, кого ты слушал, эти нынешние составители руководств по искусству речи, они плуты и только скрывают, что отлично знают человеческую душу. Так что пока они не станут говорить и писать именно этим способом, мы не поверим им, что их руководства написаны по правилам искусства.

Федр. Какой способ ты имеешь в виду?

Сократ. Здесь нелегко подобрать точные выражения, но я хочу указать, как надо писать, чтобы это, насколько возможно, было сделано по правилам искусства.

Федр. Так укажи.

Сократ. Поскольку сила речи заключается в воздействии на душу, тому, кто собирается стать оратором, необходимо знать, сколько видов имеет душа: их столько-то и столько-то, они такие-то и такие-то, поэтому слушатели бывают такими-то и такими-то. Когда это должным образом разобрано, тогда устанавливается, что есть столько-то и столько-то видов речей и каждый из них такой-то. Таких-то слушателей по такой-то причине легко убедить в том-то и том-то такими-то речами, а такие-то потому-то и потому-то с трудом поддаются убеждению. Кто достаточно все это продумал, тот затем наблюдает, как это осуществляется и применяется на деле, причем он должен уметь остро воспринимать и прослеживать, иначе он не прибавит ничего к тому, что он еще раньше слышал, изучая красноречие. Когда же он будет способен определять, какими речами какой человек даст себя убедить, тогда при встрече с таким человеком он сможет распознать его и дать себе отчет, что вот как раз тот человек и та природа, о которой прежде шла речь. Теперь она на самом деле предстала перед ним, и к ней надо вот так применить такие-то речи, чтобы убедить ее в том-то. Сообразив все это, он должен учесть время, когда ему удобнее говорить, а когда и воздержаться: все изученные им виды речей – сжатую речь, или жалостливую, или возбуждающую – ему следует применять вовремя и к стати: только тогда, и никак не ранее, его искусство будет разработано прекрасно и совершенно. Если же, произнося речь, сочиняя или обучая, он упустит хоть что-нибудь из этого, а между тем станет утверждать, что придерживается правил искусства, прав будет тот, кто ему не поверит. «Что же, Федр и Сократ, – скажет, пожалуй, такой сочинитель, – таково ваше мнение? А разве нельзя как-нибудь иначе понимать то, что называют искусством красноречия?»

Федр. Невозможно иначе, Сократ, хотя дело это, видимо, не малое.

Сократ. Ты прав. Именно поэтому нужно, поворачивая каждую речь то так, то этак, смотреть, не найдется ли какой-нибудь более легкий и короткий путь к искусству красноречия, чтобы не идти понапрасну долгим и тернистым путем, когда можно избрать короткий и ровный. Если же ты, слушавший Лисия и других, можешь оказать нам какую-то помощь, то попытайся припомнить и изложить то, что ты слышал.

Федр. Можно было бы попытаться, но сейчас я не расположен.

Сократ. Хочешь, я скажу тебе одну вещь, которую слышал от тех, кто занимается этим делом?

Федр. Что именно?

Сократ. Есть же поговорка, Федр, что стоит иногда повторить и слова волка. [77 – Схолиаст к этому месту «Федра» пишет, что волк, увидев пастуха, поедающего мясо овцы, сказал: «Какой бы был поднят шум если бы это сделал я». Возможно, что этот рассказ связан с мотивами Эзопа.]

Федр. Так ты это и сделай.

Сократ. Итак, они утверждают, что в этом деле вовсе не надо заноситься так высоко и пускаться в длинные рассуждения. По их мнению, – и как мы уже сказали в начале этого рассуждения, – тому, кто собирается стать хорошим оратором, совершенно излишне иметь истинное представление о справедливых и хороших делах или о людях, справедливых и хороших по природе либо по

воспитанию. В судах решительно никому нет никакого дела до истины, важна только убедительность. А она состоит в правдоподобию, на чем и должен сосредоточить свое внимание тот, кто хочет произнести искусную речь. Иной раз в защитительной и обвинительной речи даже следует умолчать о том, что было в действительности, если это неправдоподобно, и говорить только о правдоподобном: оратор из всех сил должен гнаться за правдоподобием, зачастую распрощавшись с истиной. Провести это через всю речь – вот в чем и будет состоять все искусство.

Федр. Ты, Сократ, как раз коснулся того, что говорят люди, выдающие себя за знатоков красноречия. Припоминаю, что мы с тобой и раньше мимоходом касались этого, а ведь это очень важно для всех, кто занимается таким делом.

Сократ. Но ты тщательно изучил самого Тисия, так пусть Тисий нам и скажет, согласен ли он с большинством относительно того, что такое правдоподобие.

Федр. Как он может быть не согласен?

Сократ. Вот какой случай Тисий, по-видимому, умно придумал и искусно описал: если слабосильный, но храбрый человек побьет сильного, но трусливого, отнимет у него плащ или еще что-нибудь, то, когда их вызовут в суд, ни одному из них нельзя говорить правду: трусу не следует признаваться, что его избил один человек, оказавшийся храбрецом. Тому же надо доказывать, что они встретились один на один, и напирать на такой довод: «Как же я, вот такой, мог напасть на такого?» Сильный не признается в своей трусости, но попытается что-нибудь соврать и тем самым, возможно, даст своему противнику повод его уличить. И в других случаях бывают искусные речи в таком же роде. Разве не так, Федр?

Федр. Ну и что же?

Сократ. Ох, и ловко же прикрытое искусство изобрел Тисий или кто бы там ни был другой и как бы он ни назывался! Но, друг мой, сказать ли нам ему или нет...

Федр. Что?

Сократ. А вот что: «Мы, Тисий, задолго до твоего появления говорили, бывало, что большинству людей правдоподобным кажется то, что подобно истине. А вот сейчас мы разбирали разные случаи подобия и показали, что лучше всего умеет его находить всюду тот, кто знает истину. Так что, если ты утверждаешь что-нибудь новое относительно искусства красноречия, мы послушаем, если же нет, мы останемся при убеждении, к которому привело нас наше исследование: кто не учтет природные качества своих будущих слушателей, кто не сумеет различать существующее по видам и охватывать одной идеей все единичное, тот никогда не овладеет искусством красноречия настолько, насколько это возможно для человека.

Достичь этого без усилий нельзя, и человек рассудительный предпримет такой труд не ради того, чтобы говорить и иметь дело с людьми, а для того, чтобы быть в состоянии говорить угодное богам и по мере сил своих делать все так, чтобы им это было угодно. Ведь те, кто мудрее нас с тобой, Тисий, утверждают, что человек, обладающий умом, должен заботиться о том, как бы угодить не товарищам по рабству – им разве лишь между прочим, – но своим благим владыкам, потомкам благих родителей. Поэтому, если путь долог, [78 – 0 трудном, но прекрасном пути, ведущем к цели см. у Гесиода (Работы и дни 288–292): Путь не тяжелый ко злу, обитает оно недалеко, но добродетель от нас отделили бессмертные богИтягостным потом: крута, высока и длинна к ней дорога. И трудновата вначале. Но если достигнешь вершины, Легкой и ровною станет дорога, тяжелая прежде. Пер. В. В. Вересаева] не удивляйся: ради великой цели надо его пройти, а вовсе не так, как ты себе представляешь. Сбудется, гласит поговорка, если кто пожелает, и это будет прекраснейший плод тех усилий».

Федр. Прекрасно, по-моему, сказано, Сократ, если только это кому-то по силам.

Сократ. Но ведь если что и придется претерпеть, взявшись за прекрасное дело, это тоже будет прекрасно.

Федр. Конечно.

Сократ. Ну что ж, довольно говорить об искусном и неискusном составлении речей!

Федр. Пожалуй.

Сократ. Остается разобрать, подобает ли записывать речи или нет, чем это хорошо, а чем не годится. Не так ли?

Федр. Да.

Сократ. Относительно речей знаешь ли ты, как всего более угодить богу делом или словом?

Федр. Нет, а ты?

Сократ. Я могу только передать, что об этом слышали наши предки, они-то знали, правда ли это. Если бы мы сами могли доискаться до этого, разве нам было бы дело до человеческих предположений?

Федр. Смешной вопрос! Но скажи, что ты, по твоим словам, слышал.

Сократ. Так вот, я слышал, что близ египетского Навкратиса [79 – Навкратис – торговый город в Нижнем Египте.] родился один из древних тамошних богов, которому посвящена птица, называемая ибисом. А самому божеству имя было Тевт. [80 – Тевт, видимо, бог Тот. Цицерон пишет (О природе богов III 2, 56) о пяти ликах Меркурия, причем пятый, «которому поклоняются фенеаты, как говорят, убил Аргуса, по этой причине бежал в Египет и сообщил египтянам законы и письменность. Его египетское имя Тот, и так же называется у них первый месяц в году». (Философские трактаты / Пер. с лат. М. И. Рижского. М., 1985). В истории рассказанной Сократом, есть, таким образом, доля мифологической традиции. Приводимые ниже в тексте слова о припоминании вместо памяти и мнимой мудрости вместо истинной вполне соответствуют мнению Сократа и Платона (см.: Менон, прим. 23).] Он первый изобрел число, счет, геометрию, астрономию, вдобавок игру в шашки и в кости, а также и письмена. Царем над всем Египтом был тогда Тамус, правивший в великом городе верхней области, который греки называют египетскими фивами, а его бога – Аммоном. [81 – См.: Алкивиад II, прим. 14.] Придя к царю, Тевт показал свои искусства и сказал, что их надо передать остальным египтянам. Царь спросил, какую пользу приносит каждое из них. Тевт стал объяснять, а царь, смотря по тому, говорил ли Тевт, по его мнению, хорошо или нет, кое-что порицал, а кое-что хвалил. По поводу каждого искусства Тамус, как передают, много высказал Тевту хорошего и дурного, но это было бы слишком долго рассказывать. Когда же дошел черед до письмен, Тевт сказал: «Эта наука, царь, сделает египтян более мудрыми и памятьливыми, так как найдено средство для памяти и мудрости». Царь же сказал: «Искуснейший Тевт, один способен породить предметы искусства, а другой – судить, какая в них доля вреда или выгоды для тех, кто будет ими пользоваться. Вот и сейчас ты, отец письмен, из любви к ним придал им прямо противоположное значение. В души научившихся им они вселят забывчивость, так как будет лишена упражнения память: припоминать станут извне, доверяясь письму, по посторонним знакам, а не изнутри, сами собою. Стало быть, ты нашел средство не для памяти, а для припоминания. Ты даешь ученикам мнимую, а не истинную мудрость. Они у тебя будут многое знать понаслышке, без обучения, и будут казаться многознающими, оставаясь в большинстве невеждами, людьми трудными для общения; они станут мнимомудрыми вместо мудрых».

Федр. Ты, Сократ, легко сочиняешь египетские и какие тебе угодно сказания.

Сократ. Рассказывали же жрецы Зевса Додонского, [82 – См. прим. 26.] что слова дуба были первыми прорицаниями. Людям тех времен, – ведь они не были так умны, как вы, нынешние, – было довольно, по их простоте, слушать дуб или скалу, лишь бы только те говорили правду. А для тебя, наверное, важно, кто это говорит и откуда он, ведь ты смотришь не только на то, так ли все на самом деле или иначе.

Федр. Ты правильно меня упрекнул, а с письменами, видно, так оно и есть, как говорит тот фиванец.

Сократ. Значит, и тот, кто рассчитывает запечатлеть в письменах свое

искусство и кто в свою очередь черпает его из письмен, потому что оно будто бы надежно и прочно сохраняется там на будущее, – оба преисполнены простодушия и, в сущности, не знают прорицания Аммона, раз они записанную речь ставят выше, чем напоминание со стороны человека, сведущего в том, что записано.

Федр. Это очень верно.

Сократ. В этом, Федр, дурная особенность письменности, поистине сходной с живописью: ее порождения стоят, как живые, а спроси их – они величаво и гордо молчат. То же самое и с сочинениями: думаешь, будто они говорят как разумные существа, но если кто спросит о чем-нибудь из того, что они говорят, желая это усвоить, они всегда отвечают одно и то же. Всякое сочинение, однажды записанное, находится в обращении везде – и у людей понимающих, и равным образом у тех, кому вовсе не подобает его читать, и оно не знает, с кем оно должно говорить, а с кем нет. Если им пренебрегают или несправедливо его ругают, оно нуждается в помощи своего отца, само же не способно ни защититься, ни помочь себе.

Федр. И это ты говоришь очень верно.

Сократ. Что же, не взглянуть ли нам, как возникает другое сочинение, родной брат первого, и насколько оно по своей природе лучше того и могущественнее?

Федр. Что же это за сочинение и как оно, по-твоему, возникает?

Сократ. Это то сочинение, которое по мере приобретения знаний пишется в душе обучающегося; оно способно себя защитить и при этом умеет говорить с кем следует, умеет и промолчать.

Федр. Ты говоришь о живой и одушевленной речи знающего человека, отображением которой справедливо можно назвать письменную речь?

Сократ. Совершенно верно. Скажи мне вот что: разве станет разумный земледелец, радеющий о посеве и желающий получить урожай, всерьез возделывать летом сады Адониса ради удовольствия восемь дней любоваться хорошими всходами? [83 – Садами Адониса называлась зелень, высаженная в горшки к весеннему празднику бога Адониса и быстро увядающая; она символизировала кратковременность земной жизни.] Если он и делает это иной раз, то только для забавы, ради праздника. А всерьез он сеет, где надлежит, применяя земледельческое искусство, и бывает доволен, когда на восьмой месяц созреет его посев.

Федр. Конечно, Сократ, одно он будет делать всерьез, а другое – только так, как ты говоришь.

Сократ. А человек, обладающий знанием справедливого, прекрасного, благого, – что же он, по-нашему, меньше земледельца заботится о своем посеве?

Федр. Ни в коем случае.

Сократ. Значит, он не станет всерьез писать по воде чернилами, сея при помощи тростниковой палочки сочинения, не способные помочь себе словом и должным образом научить истине.

Федр. Это было бы невероятно.

Сократ. Конечно. Но вероятно, ради забавы он засеет сады письмен и станет писать; ведь когда он пишет, он накапливает запас воспоминаний для себя самого на то время, когда наступит старость – возраст забвенья, да и для всякого, кто пойдет по его следам; и он порадуется при виде нежных всходов. Между тем как другие люди предаются иным развлечениям, упиваясь пиршествами и тому подобными забавами, он вместо этого будет, вероятно, проводить время в тех развлечениях, о которых я говорю.

Федр. Забава, о которой ты говоришь, Сократ, прекрасна в сравнении с теми низкими развлечениями: ведь она доступна только тому, кто умеет, забавляясь сочинением, повествовать о справедливости и обо всем прочем, что ты упоминал.

Сократ. Так-то это так, милый Федр, но еще лучше, по-моему, станут такие занятия, если пользоваться искусством диалектики: взяв подходящую душу, такой человек со знанием дела насаждает и сеет в ней речи, способные помочь и самим себе и сеятелю, ибо они не бесплодны, в них есть семя, которое родит новые речи в душах других людей, способные сделать это семя навеки бессмертным, а его обладателя счастливым настолько, насколько может быть человек.

Федр. То, что ты сейчас говоришь, еще лучше.

Сократ. Теперь, Федр, раз мы с этим согласны, мы уже можем судить и о том...

Федр. О чем?

Сократ. Да о том, что мы хотели рассмотреть и что привело нас к только что сказанному: надо рассмотреть упрек, сделанный нами Лисию за то, что он пишет речи, да и сами речи – какие из них написаны искусно, а какие нет. А что соответствует правилам искусства и что нет, как мне кажется, уже достаточно выяснено.

Федр. Да, кажется, но напomini, как именно.

Сократ. Прежде всего надо познать истину относительно любой вещи, о которой говоришь или пишешь; суметь определить все соответственно с этой истиной, а дав определение, знать, как дальше подразделить это на виды, вплоть до того, что не поддается делению. Природу души надо рассматривать точно так же, отыскивая вид речи, соответствующий каждому природному складу, и таким образом строить и упорядочивать свою речь; к сложной душе надо обращаться со сложными, разнообразными речами, а к простой душе – с простыми. Без этого невозможно искусно, насколько это позволяет природа, овладеть всем родом речей – ни теми, что предназначены учить, ни теми – что убеждать, как показало все наше предшествующее рассуждение.

Федр. Да, это стало вполне очевидным.

Сократ. А прекрасно или постыдно произносить и записывать речи, и когда это дело по праву заслуживает порицания, а когда – нет, разве не выяснило сказанное несколько раньше?

Федр. А что было сказано?

Сократ. Если Лисий или кто другой когда-либо написал или напишет для частных лиц либо для общества сочинение, касающееся гражданского устройства, и будет считать, что там все ясно и верно обосновано, такой писатель заслуживает порицания, все равно – выскажет его кто-нибудь или нет. Во сне ли или наяву быть в неведении относительно справедливости и несправедливости, зла и блага – это и впрямь не может не вызвать порицания, хотя бы толпа и превозносила такого человека.

Федр. Конечно, не может.

Сократ. Кто же считает, что в речи, написанной на любую тему, неизбежно будет много развлекательного и что никогда еще не было написано или произнесено ни одной речи, в стихах ли или нет, которая заслуживала бы серьезного отношения (ведь речи произносят подобно сказам рапсонов, то есть без исследования и поучения, имеющего целью убеждать; в сущности, лучшее, что у них есть, рапсоды[84 – Рапсоды – исполнители эпических песен.] знают наизусть), – так вот, такой человек находит, что только в речах назидательных, произносимых ради поучения и воистину начертываемых в душе, в речах о справедливости, красоте и благе есть ясность и совершенство, стоящие стараний. О таких речах он скажет, что они словно родные его сыновья, – прежде всего о той, которую он изобрел сам, затем о ее потомках и братьях, заслуженно возникших в душах других людей. А с остальными сочинениями он распрощится. Вот тот человек, Федр, каким мы с тобой оба желали бы стать.

Федр. Я очень хочу того же и молюсь об этом.

Сократ. Так довольно нам развлекаться рассуждением о речах. А ты пойд и сообщи Лисию, что мы с тобой, сойдя к источнику нимф и в святилище Муз,

услыхали там голоса, которые поручили нам сказать Лисию и всякому другому, кто сочиняет речи, да и Гомеру и всякому другому, кто слагал стихи для пения и не для пения, а в-третьих, и Солону и всякому, кто писал сочинения, касающиеся гражданского устройства, в виде речей и назвал эти речи законами: если такой человек составил свои произведения, зная, в чем заключается истина, и может защитить их, когда кто-нибудь станет их проверять, и если он сам способен устно указать слабые стороны того, что написал, то такого человека следует называть не по его сочинениям, а по той цели, к которой были направлены его старания.

Федр. Как же ты предлагаешь его называть?

Сократ. Название мудреца, Федр, по-моему, для него слишком громко и пристало только богу. Любитель мудрости – философ или что-нибудь в этом роде – вот что больше ему подходит и более ладно звучит.

Федр. Да, это очень подходит.

Сократ. А значит, того, кто не обладает чем-нибудь более ценным, чем то, что он сочинил или написал, кто долго вертел свое произведение то так то этак, то склеивая его части, то их уничтожая, ты по справедливости назовешь либо поэтом, либо составителем речей или законов?

Федр. Конечно.

Сократ. Это вот ты и сообщи своему приятелю.

Федр. А ты? Как ты поступишь? нельзя ведь обойти и твоего приятеля.

Сократ. Какого?

Федр. Красавца Исократу. [85 – См.: Феаг, прим. 23.] Ему ты что объявишь, Сократ? Как нам его назвать?

Сократ. Исократ еще молод, Федр, но мне хочется сказать, что я предвижу для него.

Федр. Что же?

Сократ. Мне кажется, что по своим природным задаткам он выше Лисия с его речами, да и по своему душевному складу он благороднее. Поэтому не будет ничего удивительного, если, повзрослев, он в речах – пока что он только пробует в них силы – превзойдет всех, когда-либо ими занимавшихся, больше, чем теперь превосходит всех юношей. Кроме того, если он не удовлетворится этим, какой-то божественный порыв увлечет его к еще большему. В разуме этого человека, друг мой, природой заложена какая-то любовь к мудрости. Вот что объявляю я от имени здешних богов моему любимцу Исократу, а ты объяви то, что было сказано, Лисию, раз уж он твой любимец.

Федр. Так и будет. Но пойдем, жара уже спала.

Сократ. Разве не следует помолиться перед уходом?

Федр. Конечно, надо.

Сократ. Милый Пан и другие здешние боги, дайте мне стать внутренне прекрасным! [86 – Характерна молитва Сократа о внутренней красоте, в которой так и чувствуется учение о прекрасном, благе и неотделимости добродетели от красоты.] А то, что у меня есть извне, пусть будет дружественно тому, что у меня внутри. Богатым пусть я считаю мудрого, а груд золота пусть у меня будет столько, сколько ни унести, ни увезти никому, кроме человека рассудительного. Просить ли еще о чем-нибудь, Федр? Но мне, такой молитвы достаточно.

Федр. Присоедини и от меня ту же молитву. Ведь у друзей все общее. [87 – Схолиаст поясняет: «Для тех, кто щедро отдает» Пословица зародилась в Великой Греции (Южная Италия), где Пифагор учил о совместном владении имуществом. Согласно схолиасту, «Клеарх рассказывает, что, когда халкидяне с Евбеи послали в Дельфы дары Аполлону и Артемиде и спросили там, поровну ли будут распределены приношения, оракул ответил: „У друзей все общее“».]

Сократ. Пойдем.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://filosoff.org/>

Приятного чтения!

notes_

Примечания А. А. Тахо-Годи

В диалоге «Федр» всего два собеседника, мирно сидящих под платанами у почти пересохшей летом реки Илис. Это Сократ и Федр.

Тема их беседы напоминает «Пир», хотя здесь нет поисков сущности любви, но зато раскрывается ее неистовая, безумная сторона, ее роль в становлении души на путях блага и в создании подлинной философии, а не пустого красноречия. «Федр» примыкает к «Пиру» по датировке написания. События его отодвинуты приблизительно к тому времени, когда имел место и пир в честь Агафона (ок. 416 г.), т.е. когда Сократу было за пятьдесят, а Федр был еще двадцатилетним юношей, упоминаемые же в диалоге ораторы Исократ и Лисий были в расцвете сил.

В настоящем издании публикуется перевод диалога «Федр», выполненный А. Н. Егуновым и изданный в однотомнике: Платон. Избранные диалоги. М., 1965. Перевод заново сверен А. А. Столяровым.

notes

Примечания

1

См.: Евтидем, прим. 58.

2

См.: Пир, прим. 16.

3

Личность Эпикрата недостаточно достоверна. Может быть, это тот демагог, известный взяточник и казнокрад, против которого написана XXVII речь Лисия и который упоминается у Аристофана (Женщины в народном собрании 71), а также у схолиаста к этому месту. У него была комически громадная борода. Морихий – богатый афинянин, большой чревоугодник, принимавший на пирах в своем доме поэтов, философов, ораторов и актеров. Его гастрономические увлечения осмеивались в комедиях (схол. 227b).

4

Пиндар в «Истмийских одах» (I 1–3) пишет:

Мать моя Фива,
Носительница золотого щита,
Для меня твой труд
Превыше всяких забот!

Пер. М. Л. Гаспарова.
Пиндар. Вакхилид. Оды. Фрагменты. М., 1980

5

Мегары расположены приблизительно в 40 км от Афин (см. также: Критон, прим. 16). О Геродике см.: Протагор, прим. 24.

6

Орифия, дочь аттического царя Эрехтея, по преданию, была похищена северным ветром Бореем и унесена во Фракию (Павсаний I 19, б). Геродот (VII 189) сообщает, что афиняне считали Борей своим зятем и во время бури у Евбеи принесли Орифии и Борей жертвы с мольбой сокрушить флот варваров.

7

В местечке Агры («Ловы») находился храм Артемиды Агротеры («Ловчей»), где «некогда, придя с Делоса, охотилась Артемида» (Павсаний I 19, 7 // Описание Эллады / Пер. С. П. Кондратьева. Т. I–II. М., 1938–1940. Т. I).

8

фармакея – наяда одноименного ручья.

9

Холм Арея – ареопаг, где, по Эсхилу, происходил суд над Орестом (Евмениды) и где с тех пор, по преданию, был основан древнейший суд по делам, связанным с убийством или с оскорблением богов.

10

Сократ перечисляет целый ряд мифических существ. Гиппокентавры, или кентавры, – полулюди-полулошади (Ил. I 268, II 743 сл.), химера – огнедышащее чудовище, полулев и полузмея с туловищем козы (Ил. VI 180–182). Древние знали трех горгон – чудовищ подъемного царства, самая знаменитая из которых Медуза («Владычица») со змеями вместо волос и взглядом, «все превращающим в камень» (Гесиод. Теогония 275–277). Пегас – крылатый конь, сын Медузы и Посейдона, появившийся из крови убитой горгоны (Теогония 278–281). Тифон (ниже в тексте, 230а) – чудовище со ста головами, сын Геи – Земли, побежденный Зевсом (Теогония 820–868).

11

В словах о доморощенной мудрости чувствуется насмешка над ранними философами, которым еще не была чужда мифология и которые толковали стихии и вообще чувственный мир в ее духе; например, у Анаксимена «воздух есть бог», у Гераклита «мудрость» хочет и не хочет называться Зевсом (В 32 Diels), у Парменида органы зрения называются Гелиадами (В 1 Diels), у Эмпедокла боги – космогонические силы: Любовь – Афродита и Гефосина, Вражда – Эрида (В 17–20, 22 Diels), Огонь – Гефест (В 98 Diels), вода – Нестиды (В 96 Diels). Сократа, стоявшего на принципиально новых позициях по сравнению с натурфилософами, интересует прежде всего человек. Вот почему он вспоминает изречение на храме Аполлона в Дельфах: «Познай самого себя» (см. здесь же, ниже).

12

Ахелой – река в Греции, пересекающая ее с севера на юг. По мифам, «серебристопучинный» Ахелой – древнейшая река, сын Океана и Тефии, старший из трех тысяч братьев (Гесиод. Теогония 340), отец источника Дирки недалеко от Фив (Еврипид. Вакханки 519 сл.), губительниц-сирен – дочерей Мельпомены (Аполлодор I 3, 4) или Терпсихоры (Аполлоний Родосский IV 895–897) и нимф (Ил. XXIV 616).

13

См. также: Критон 52b.

14

Подлинность речи Лисия сомнительна. Парадоксальность темы (предпочтение нелюбящего любящему), аргументация и выводы напоминают упражнения опытных софистов.

15

Саффо (Сафо) – знаменитая древнегреческая поэтесса с о. Лесбос (VII–VI вв.), основательница песенной любовной лирики. Фрагменты сочинений Саффо и Анакреонта (см.: Феаг, прим. 18) см. у Дия (Diehl) и Эдмондса (Edmonds). Русск. пер. см.: Вересаев В. В. Полн. собр. соч. Т. X; Он же. Соч. Т. III. М., 1948; Эллинские поэты. М., 1963.

16

Плутарх пишет (Солон 25) : «Совет давал присягу коллективную – твердо соблюдать Солоновы законы, а каждый из фесмофетов (архонты, председательствовавшие в суде) присягал особо на площади у камня, заявляя, что если он нарушит что-либо в этих законах, то посвятит богу в Дельфах золотую статую, равную своему росту» (Сравнительные жизнеописания. Т. 1–2. М., 1961–1963. Т. I). См. также: Менексен, прим. 17.

17

Павсаний (V 1, 4) пишет, что «кипсел, коринфский тиран, посвятил Зевсу в Олимпии золотую статую».

18

Сладкоголосые Музы (собственно «звонкие»: λίγειαι, что созвучно названию племени лигийцев, или лигуров, больших любителей пения) – так Музы названы в гомеровских гимнах (XVII 1 Diehl), в пэанах Пиндара (fr. 14, 32 Snell – Maehler), в идиллиях Феокрита (XXII 221).

19

Как указывает Гесихий, человек, охваченный поэтическим вдохновением, считался охваченным нимфами или Музами (см.: Hesichii Alexandrini Lexicon / Ed. M. Schmidt. Ienae, 1867. Νυμφόληπτος), вообще

всякий поэт творит по какому-то безумному наитию. Ср.: Ион, прим. 14 и 16; о дифирамбе см. там же, прим. 17.

20

Схолиаст к данному месту приводит пословицу в следующем виде: «Сверстник радуется сверстника, старик – старика». Ср.: Горгий, прим. 63.

21

Схолиаст считает эти строки пародией на «Илиаду» XXII 262–264:

Как невозможны меж львов и людей нерушимые клятвы,
Как меж волков и ягнят никогда не бывает согласия,
Друг против друга всегда только злое они замышляют.

Пер. В. В. Вересаева.

22

В полдень солнце кажется неподвижно стоящим в зените. Карпов переводит «полдень жгучий», так как $\rho\sigma\tau\upsilon\phi\chi\psi$; можно считать не только ж. р. прилагательного $\rho\sigma\tau\upsilon\phi\chi\psi$; («неподвижно стоящий»), но и (правда, с натяжкой) словом, производным от глагола $\rho\sigma\tau\upsilon\phi\chi\psi$; («жечь»).

23

О Симмии см.: Федон, преамбула.

24

Ивик (VI в.) – лирик из Регия (Южная Италия), автор хоровых песен. По преданию, убит разбойниками, злодейство которых раскрыли журавли (ср. балладу Шиллера «Ивиковы журавли»). Фрагменты Ивика см. в изд. Диля, т. II и Эдмондса, т. III. Данная строка – fr. 22 Diehl. Ср. пер. В. В. Вересаева в книге «Эллинские поэты», фр. 12.

25

Стесихор (VII–VI вв.) из Гимеры в Сицилии – лирический поэт, автор хоровых песен и устроитель хоров (отсюда и его имя). К строфе и антистрофе хора добавил еще эпод, так называемый припев. В словаре Суда [**Suidae lexicon graece et latine / Rec. G. Bernhardt. Nolis et Brunsvigae, 1853.*] ($\sigma\tau\epsilon\sigma\iota\chi\omicron\rho\sigma$) читаем: «Говорят, что он, написав хулу на Елену, был ослеплен. По велению же во сне заново сочинил Елене хвалу, палинодию ($\sigma\tau\epsilon\sigma\iota\chi\omicron\rho\sigma$; букв. „обратную песнь“. – А. Т.-Г.), и вновь прозрел». Фрагменты Стесихора в т. II изд. Диля и в т. III Эдмондса. Данные стихи – fr. 11 Diehl.

26

Ср.: Хармид, прим. 29; Ион, прим. 14 и 16; Менон, прим. 46.

27

В Дельфах было прорицалище Аполлона (см.: Алкивиад I, прим. 46), в Додоне (Северная Греция, Эпир) – Зевса. В Додоне толкования оракула давали по шелесту листьев дуба, а в Дельфах – по предсказанию Пифии, треножник которой стоял над расселиной скалы. К этим оракулам в трудных обстоятельствах обращались не только люди по своим личным делам, но и целые государства в целях политических. Уже Гомер знает Додонский оракул, где его пророки-жрецы «ног не моют себе и спят на земле обнаженной» (Ил. XVI 233–235), а также «храм Аполлона, метателя стрел на Пифоне скалистом» (Ил. IX 405). Именно сюда перед Троянской войной приходил вождь всех ахейцев Агамемнон (Од. VIII 79–82).

28

См.: Феаг, прим. 15.

29

«Мантический» – букв. «пророческий», «манический», «вдохновенный», «безумствующий». Рассуждения Сократа (ниже в тексте) о происхождении слов «ойонистика» (от οἰονιστική; – «птица») – птицегадание – и «ойоноистика» (искусственно образовано Сократом от οἰονιστική; – «предчувствовать» и οἰονιστική; – «думать») – гадание посредством ума – созвучны рассуждениям об этимологии слов в «Кратиле».

30

Подробнее см.: Горгий, прим. 80.

31

См.: Кратил, прим. 41.

32

См.: Горгий, прим. 80 (с. 812).

33

См. там же (с. 813).

34

См.: Менон, прим. 23.

35

О теле как могиле души см.: Горгий, прим. 45.

36

Учение об истечениях ('απορροή) от предмета, которые воздействуют на чувственное восприятие человека, характерно особенно для натурфилософских воззрений Эмпедокла и Демокрита. Эмпедокл пишет: «Знай, что из всех существующих предметов истекают токи» (В 89 Diels). Для Эмпедокла свет – это «тело, вытекающее из светящегося тела» (А 57 Diels) ; «цвета несутся к зрению истечениями» так же, как запахи, которые «суть истечения», причем «из элементов только один огонь дает истечения, другие же нет» (А 86 Diels). Демокрит, по свидетельству Теофраста, считал, что «от всего всегда происходит некоторое истечение», поэтому «мы видим вследствие вхождения в нас идолов (образов)» (А 135, 1 Diels).

37

Здесь столь излюбленная Сократом игра слов. По-греч. «частица» – μέρος, «влечение» – ίμερος. Исхождение частиц можно сравнить с исхождением от предметов его «эйдолов» – отображений (см. прим. 35). По Гиппократу, благодаря жизненной силе «проникают в человека части всех частей» и «каждая же [отдельная] душа колеблется между обладанием бόльшим и меньшим числом частиц, приобретая для себя всякие частицы» (22 с 1 Diels).

38

Ср.: Кратил, прим. 15. Птерот – от τόπτερόν («крыло»). О гомеридах см.: Ион, прим. 6.

39

См.: Кратил, прим. 56.

40

Ганимед – сын царя Троса, похищенный Зевсом и ставший на Олимпе виночерпием богов (Ил. XX 231–235) и любимцем Зевса (О1. I 43–45 Snell – Maehler). В обмен Зевс подарил Тросу божественных коней (Ил. V 265–267).

41

Под тремя олимпийскими состязаниями здесь в переносном смысле понимается путь, трижды пройденный душой. Победа одерживается в том случае, если душа трижды, т.е. в течение трех тысяч лет, избирает одну и ту же истинно философскую жизнь. Ср. 248с – 249d – о переселении душ в материальные тела на земле и о суде над душами.

42

Душа, расставшаяся с нечистым телом, но еще проникнутая телесностью, тяжелеет, и «эта тяжесть тянет ее в видимый мир», где она, как призрак, «бродит среди надгробий и могил» (Федон 81 с). Однако души тех, кто сильно любил, получают награду за свою любовь, стремятся отрастить крылья и не сходят во мрак.

43

44

Полемарх, старший брат Лисия, и отец его Кефал – участники диалога Платона «Государство». См.: указ. диалог, преамбула.

45

Государственный муж – возможно, Архин (см. Менексен, прим. 4), который был против предоставления сицилийцу Лисию афинского гражданства. Эта история рассказана Плутархом в «Жизни десяти ораторов», в главе «Лисий» (835с – 836b). Сочинитель речей – «логограф» (см., например, Евтидем, прим. 58).

46

Излучина на Ниле, сокращавшая путь между Навкратисом и Мемфисом, но чрезвычайно опасная, именовалась древними евфемистически «сладкой» или «доброй». Ср. например, Мыс Доброй Надежды (вместо Мыса Бурь) или Понт Евксинский – «Гостеприимный» (вместо Понта Аксинос – «Негостеприимный»). Здесь выражение употреблено в переносном смысле: государственным людям приятно писать речи, но это трудно, и они отказываются от своей задачи, боясь прослыть софистами, которых всегда порицали афинские обыватели, те самые «многие», «толпа», с чьим мнением, по Платону, Сократ никогда не считался, хотя они и могли принести большой вред. См.: Критон, прим. 6, 11.

47

Творец речи уходит из театра, радуясь – может быть, потому, что в афинском театре происходили часто заседания народного собрания. В греч. тексте ό ποιητής – слово, которое можно понимать узко – «поэт» и широко – «автор вообще». Это или прямое сравнение: он уходит «с веселием в сердце, как поэт из театра» (Карпов), или подразумеваемое: «Если предложение принято, то поэт (Dichter), полный радости, уходит со зрелища домой» (О. Апелът).

48

Ликург (см.: Критон, прим. 15), по Фукидиду (I 18), жил в IX в., по Плутарху (Ликург VII, XXXIX // Сравнительные жизнеописания. Т. 1), – в X–IX вв. О Солоне см.: Менексен, прим. 50. Дарий I прославился укреплением и расширением своего государства. При нем началась греко-персидская война. См.: Менексен, прим. 21.

49

Сирены привлекали путников сладостным пением и губили их. У Гомера (Од. XII 39–54, 166–200) мимо них проплыл Одиссей, привязав себя к мачте и заткнув воском уши своих товарищей. Гомер знает двух сирен; в более позднее время считали, что их три. Когда мимо них проплыли аргонавты, заглушая их пение музыкой Орфея (Аполлоний Родосский IV 893–921), сирены бросились в море и превратились в скалы (Orpheï Argonautica 1284–1290 Abel).

50

Музы – дочери Зевса и Мнемосины; по Гесиоду – пизрийские, геликонские, олимпийские. Их девять сестер: Клио, Евтерпа, Талия, Мельпомена, Эрато,

Терпсихора, Полигимния, Урания, Каллиопа. Они богини искусства и вдохновительницы поэтов: им также ведомы правда и ложь, «что было, что есть и что будет». Они не просто поют, но славят «священное племя бессмертных», «добрые нравы богов» и «законы», следуя за «царями, достойными чести», и облегчая жизнь тем, кто «сохнет, печалью терзаясь» (см.: Гесиод. Труды и дни 1 сл., а также Теогония – 1–104, подробная характеристика Муз).

Среди гомеровских гимнов есть один (XXV), обращенный к Музам и Аполлону. В орфической литературе тоже есть гимн «Музам» (LXXVI). Из поздних гимнов к Музам отметим гимн «Музе» Месомеда с о. Крит (I–II в. н.э.), к которому (наряду с гимнами Солнцу и Немесиде) сохранились древние нотные знаки, на основании которых существует ряд музыкальных реставраций (*Musici scriptores graeci* / Rec. C. Janus. Lipsiae, 1895. P. 454–473). Знаменитый неоплатоник Прокл (V в. н.э.) тоже оставил «Гимн к Музам.» (III). Музы у него – это «свет, возносящий ввысь человеческий род». Они через «вдохновенные книги» спасают «души людей, поглощенные бездною жизни», они «опьяняют» философа «умными мифами мудрых», увлекая «душу странника к чистому свету», душу, «насыщенную медом их собственных ульев». См.: Античные гимны. См. также прим. 18.

51

Миф о цикадах, созданный Платоном, – изящная метаморфоза, «превращение» с этиологической, как это постоянно бывает, основой. Интересно, что этиология здесь не ограничивается узкой задачей самой метаморфозы – показать, откуда взялись цикады. Мифологема органически связана с композицией диалога. Слова Сократа: «Значит, по многим причинам нам с тобой надо беседовать, а не спать в полдень» – раскрывают суть этого мифа, подчеркивая деятельное начало в человеке, лишенном рабской или животной лениности ума, и наталкивают собеседников на дальнейшее развитие темы.

Превращение людей в иные существа – основная тема «Метаморфоз» Овидия. Однако для него превращение человека в животное, растение, камень или ручей – следствие наказания его богами или внутренняя моральная невозможность сохранить человеческий облик. Миф, где бы сила искусства заставила людей умирать в самозабвении и затем превращаться в цикаду, – плод неумейной фантазии Платона. Кузнечики всегда считались прекрасными певцами. Еще у Гесиода (Труды и дни 582–584):

...на дереве сидя,
Быстро, размеренно льет из-под крыльев трескучих цикада
Звонкую песнь свою средь томящего летнего зноя.

Пер. В. В. Вересаева.

Плутарх называл кузнечиков «священными и музыкальными» (*Quaest. conv. VIII 7, 3*). Феофилакт Схоластик в одном из своих писем (Ep. 1) именует кузнечика «музыкантом», «охотно распеваящим песни и по своей природе очень болтливым», особенно в полуденный час, когда он «как бы опьяняется солнечными лучами», и «стрекошет певец, превратив дерево в жертвенник, поле – в театр и предлагая путникам свое музыкальное искусство» (*Epistolographi graeci* / Rec. R. Hercher. Paris, 1873). Рассказ этот следует платоновской традиции. Схолиаст к Аристофану (Облака 984) тоже говорит о «музыкальных кузнечиках», которые близки Аполлону. Так же как люди, которые ничего не ели, распевая, и кузнечики, облик которых эти люди приняли, по поверьям древних, ничего не едят. Артемидор в своем знаменитом «Соннике» (III 49) пишет, что «кузнечики обозначают музыкальных людей на основании рассказа о них; пищи никакой для них не надо» (*Artemidori Dalidiani Onirocriticon, Libri V* / Ed. R. Pack. Lipsiae, 1963). Аримотель (История животных IV 7, 532b 14) тоже полагает, что кузнечики питаются только росой. В известном анакреонтическом стихотворении (fr. 32 Bergk) кузнечик «пьет немного росы» и поет «как царь», «сладостный пророк жары», которого «любят Музы». Кузнечик здесь «мудрый», «рожденный землей, любитель песен, не испытывающий страданий, бескровный, почти что подобный богам». В небольшом рассказе Элиана (*De nat. an I 20 Hercher*) «о цикадах» говорится о «болтливости» цикад, о том, что они «питаются росой» и распевают в самую жару, «как трудолюбивые хоревты». Страбон (VI 1 9) приводит историю о том, как однажды на состязаниях кифаредов на пифийских играх, когда у победителя «одна струна лопнула, цикада вскочила на кифару и восполнила недостающий звук струны». Победитель посвятил Аполлону в родном городе Локры свою статую с

цикадой, сидящей на кифаре. Многие видели в кузнечиках нечто пророческое. Так, Теофраст считал, что «кузнечики, расплодившиеся в большом количестве, свидетельствуют о годе болезней» (Theophrasti opera / Ex rec. F.Wimmer, I.Lipsiae, 1862, fr. VI 4. P. 129).

52

Ср. пер. В. В. Вересаева: «Слово, какое скажу я, не будет достойно презренья» – обращение Нестора к Агамемнону с советом испытать доблесть воинов, распределив их по племенам и фратриям (Ил. II 361–363).

53

Т.е. пустяки.

54

Плутарх (Aprophthegmata laconica 233b // Moralia. vol. II) в собрании различных остроумных ответов спартанцев (19) пишет: «Когда некий оратор похвалялся искусством красноречия, один лаконец сказал: „Клянись богами, никогда нет и не будет искусства без истины“».

55

Сократ ведет воображаемый разговор с доказательствами, персонифицируя их. Ср.: Критон 50a и прим. 12.

56

Искусству красноречия посвящен диалог «Горгий».

57

Упомянуты герои поэм Гомера, Нестор и Одиссей – искусные ораторы. Паламед – сын Навплия, известный умом и проницательностью, изобретатель мер и весов, игры в кости и шашки. См. также: Апология Сократа, прим. 56; Гиппий меньший, прим. 4.

58

О Горгии см.: Апология Сократа, прим. 9. Фрасимах из Халкедона преподавал в Афинах риторику. Платон порицал его как софиста. Фрагменты Фрасимаха см. в изд. Дильса (Vd. II, cap. 85); русск. пер.: Маковельский А. Софисты, вып. 2. Баку, 1941. Феодор из Византия – софист и ритор, считался учителем Лисия (не имеет отношения к Феодору Киренаику, участнику «Теэтета»).

59

имеется в виду Зенон (см.: Алкивиад I, прим. 28). О Паламеде см. прим. 57.

60

См.: прим. 12, а также Кратил 408 b–d и прим. 70.

61

Мидас – фригийский царь, известный своей страстью к золоту, из-за которой он чуть не погиб (Овидий. Метаморфозы XI 90–145). Известен еще и тем, что предпочел свирель Пана кифаре Аполлона, получив в наказание от бога ослиные уши (там же 146–193). Ниже в тексте приводится надпись, принадлежащая либо Клеобулу из Линда, либо Гомеру (VII 153 Beckby).

62

Одиссей идет за нимфой Калипсо: «Быстро шагая, за нею же следом и он устремился» (Од. V 193).

63

Определение диалектика как человека, умеющего ставить вопросы и давать ответы, см. в Кратиле 390c. О противопоставлении диалектики и эристики, т.е. спора, см.: Менон, прим. 9. См. также: Апология Сократа, прим. 24.

64

О дедале см.: Ион, прим. 10.

65

Ср.: Апология Сократа, прим. 10.

66

Тисий из Сиракуз (V в.) – ритор, ученик Коракса, учитель софиста Горгия. Тисий и Коракс определяли риторику как «демиурга убеждения» (IV, p. 19 Walz). Они строили свои доказательства на основе «вероятности», установили технику разделения речи на части (см.: Федр 266de), заложили основы античной риторики (VI, p. 13 Walz). Как пишет Максим Плануд, «риторика появилась и возросла в Сицилии» (V, p. 215 etc. Walz). В творчестве Коракса, Тисия и Горгия сказывается преемственность ораторских традиций, характерная для сицилийской школы.

67

См.: Апология Сократа, прим. 9.

68

См. там же.

69

О Поле см.: Феаг, прим. 23. Ликимний – учитель Пола, который, как пишет схолиаст к «Федру» (267c), «разделил имена на имена в собственном смысле слова, сложные, схожие, приложения и на некоторые другие», чему он и обучил Пола.

70

См.: Евтидем, прим. 32.

71

Т.е. Фрасимаха. Ср.: Евтидем, прим. 16.

72

См.: Пир, прим. 16.

73

См.: Феаг, прим. 13 и 17.

74

Подразумевается софист Антифонт. Адраст, мифический фиванский полководец, известный своей мудростью, убедил Тесея похоронить тела павших вождей, ходивших с сыном Эдипа Полиником на Фивы. Для этого Тесей вступил в сражение с фиванцами, победил их и похоронил павших вождей в элевсинской земле. Тиртей (fr. 9, v. 8 Diehl) называет Адраста «медоустым». О Перикле см.: Феаг, прим. 19.

75

См.: Апология Сократа, прим. 27.

76

См.: Протагор, прим. 11.

77

Схолиаст к этому месту «Федра» пишет, что волк, увидев пастуха, поедающего мясо овцы, сказал: «Какой бы был поднят шум если бы это сделал я». Возможно, что этот рассказ связан с мотивами Эзопа.

78

О трудном, но прекрасном пути, ведущем к цели см. у Гесиода (Работы и дни 288–292):

Путь не тяжелый ко злу, обитает оно недалеко,
Но добродетель от нас отделили бессмертные боги
Тягостным потом: крута, высока и длинна к ней дорога.
И трудновата вначале. Но если достигнешь вершины,
Легкой и ровною станет дорога, тяжелая прежде.

Пер. В. В. Вересаева

79

Навкратис – торговый город в Нижнем Египте.

80

Тевт, видимо, бог Тот. Цицерон пишет (О природе богов III 2, 56) о пяти ликах Меркурия, причем пятый, «которому поклоняются фенеаты, как говорят, убил Аргуса, по этой причине бежал в Египет и сообщил египтянам законы и письменность. Его египетское имя Тот, и так же называется у них первый месяц в году». (Философские трактаты / Пер. с лат. М. И. Рижского. М., 1985). В истории рассказанной Сократом, есть, таким образом, доля мифологической традиции. Приводимые ниже в тексте слова о припоминании вместо памяти и мнимой мудрости вместо истинной вполне соответствуют мнению Сократа и Платона (см.: Менон, прим. 23).

81

См.: Алкивиад II, прим. 14.

82

См. прим. 26.

83

Садами Адониса называлась зелень, высаженная в горшки к весеннему празднику бога Адониса и быстро увядающая; она символизировала кратковременность земной жизни.

84

Рапсоды – исполнители эпических песен.

85

См.: Феаг, прим. 23.

86

Характерна молитва Сократа о внутренней красоте, в которой так и чувствуется учение о прекрасном, благе и неотделимости добродетели от красоты.

87

Схолиаст поясняет: «Для тех, кто щедро отдает» Пословица зародилась в Великой Греции (Южная Италия), где Пифагор учил о совместном владении имуществом. Согласно схолиасту, «Клеарх рассказывает, что, когда халкидяне с Евбеи послали в Дельфы дары Аполлону и Артемиде и спросили там, поровну ли будут распределены приношения, оракул ответил: „У друзей все общее“».

Платон Федр filosoff.org

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://filosoff.org/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://dostoevskiyfyodor.ru/> Приятного чтения!